

Вячеслав Лопушной

Сонет в сентябре

Стихи, рассказы, эссе



«Сибирский писатель»
Кемерово
2005

ББК 84.3Р7

Л 77

Автор выражает благодарность
Генеральному директору
ООО «Разрез Северный Кузбасс»
Бабитову Сергею Николаевичу
за участие в издании этой книги

*Художник Юманова Евгения Николаевна
Фото на обложке Алексея Бондаренко*

Издано по лицензии Союза писателей Кузбасса
ЛР № 030775

© Лопушной В. М., 2005
© Юманова Е. Н., худ., 2005



МЕЖДУ ГРЕШНОЙ И МЛЕЧНОЙ СТЕЗЁЮ...

Ровно тридцать лет назад в альманахе «Огни Кузбасса» были впервые напечатаны стихи Вячеслава Лопушного, инженера-строителя, уже кое-чего добившегося в своей профессии. А отправил в набор пару его лирических миниатюр как раз автор этих строк... Невозможно было предсказать дальнейшую поэтическую судьбу Вячеслава и предугадать – состоится ли таковая вообще. Молодой начальник стройучастка, он чем-то напоминал мне одного из лирических героев Е.Евтушенко. Не помню сейчас точную цитату. Но речь шла о прорабе, который, едва скинув рабочие сапоги, усталый, упрямо тянулся к Блоку, Баху, Ренуару... И действительно, Славу отличали хороший русский язык, философское мироощущение, тяга к музыке и заметная жадность к постижению разных человеческих проявлений. И всё это, если человек начнет неустойно писать, может с гарантией дать... матерого умудренного графомана. А что может дать поэта, никто, кроме Бога, не разумеет!

Но сей инженер и не собирался на литературную ниву. Помотало его по жизни, мало не покажется: стройка, попытки предпринимательства, всякого рода немаленькие службы, даже в политику ненадолго запосило. Мне довелось быть его доверенным лицом, когда он кандидатствовал немало-немало – в депутаты Российского парламента... И всё это время он то уходил от творчества,

то возвращался к нему. И, как водится, «вся его биография разошлась по стихам»: *Зацепило меня, покорёжило. Жизнь моя поднялась на дыбы...* Без сомнения выстраданы и вот эти его строки:

*...Век блуждать отрядил меня Бог
Между грешной и Млечной Стезёю.
Жизнь светила, хлестала грозюю...
Только выбрать никак я не мог.*

От судьбы, от себя не убежишь. Когда Вячеславу перевалило за пятьдесят, всё же выяснилось окончательно: литературное творчество — главное его предназначение: *...И сединою убеленному, нести мне до последних дней, нечаянно приобретенную, тревогу на душе моей...* Он написал немало талантливых произведений, издал две книги, напечатался в московских журналах и, конечно, был принят в Союз писателей России. Отдельного разговора заслуживает его сотворчество с кузбасскими композиторами. На его счету уже более сорока песен, либретто мюзикла в Музыкальном театре. Некоторые его песни записали известные столичные артисты.

Хотелось бы процитировать немало строк автора. Его густая и сочная русская тема, трогающая сердце лирика, тонкая ирония и самоирония мне по душе. Но пусть лучше каждый читатель сам найдет здесь для себя открытия. Убежден: не случайно его сонет попал в Антологию лирики поэтов России трех веков, а Валентина Толкунова спела стихи Вячеслава, посвященные его дочери...

В этой третьей, в какой-то мере отчетной, книге собраны под одной обложкой вещи разных жанров. Другого бы пожурил за это. Но, хорошо зная своего «крестника», понимаю: ему слишком тесно в рамках стиха. Сначала он отошел от классических

размеров, дальше – больше... Но в рассказах и даже в его эссе и, как он сам их называет, эссеюшках нельзя не услышать поэзию. В общем, как уже понял читатель, я всё же угадал, пустив когда-то на воду поэтическую лодку Вячеслава Лопушного. А уж с парусами и ветрами он в конце концов разобрался.

Напоследок приведу одно непритязательное восьмистишие автора. Но только поэт может так сказать о собственных строках:

*Мне однажды, как молния, ночью,
В час, когда за окном чернота,
Вдруг сверкнули заветные строчки,
Но смыкала уста немота.
Сколько лун, сколько раз я – бесщётно –
Наяву их стремился найти!
Но, боюсь, только отсвет залётных
И сумел до листа донести...*

*Валентин Махалов,
поэт, член Союза писателей СССР*



Кто сказал, будто время летит?
Что ушло сумасшедшее лето?
Всё иначе: со скоростью света
Я лечу! Значит, время стоит.

Бес иль ангел играет в боку:
Полон вновь обжигающим чувством!
В сентябре разве может быть грустно,
Если женщина рядом – в соку...

Оглянусь. Как наивно порой
Добивался с неистовой силой,
Чтобы ближние также любили
Всё, что сам полюбил под луной!

Век блуждать отрядил меня Бог
Между грешной и Млечной Стезёю.
Жизнь светила, хлестала грозюю...
Только выбрать никак я не мог.

Вышло, прибыл к сединам своим
Полунищим российским поэтом.
И тому есть простая примета:
Не деньгами – словами томим.

Разве можно безумца унять
В безнадежном бескрайнем полёте?..
Верю я: на декабрьском излёте
Поверну время зимнее – вспять!

2005



**Юноша бледный
со взором горящим...**





И теперь, и во все времена
Суть любви непреложна, одна.
Как ее не запутан сюжет,
Это очень простая повесть,
Потому что любовь, как совесть:
Либо есть она, либо нет.

1972



Я, кажется, вдыхать могу
Тебя, как мяту на лугу,
Или черёмуховый цвет,
Иль запах смолянистый сосен...
Вдыхаю девятнадцать вёсен...

1973



МОЦАРТ

Как магму в вулкане, Музыку
Он в сердце кипящем носил.
И горлом хлынула Музыка,
Ему не оставила сил...

1973



МОЦАРТИАНА

И нахлынет к нам невиданная жалость.
И откроется немыслимая даль.
В дымке грусти – свет... – непознанная радость.
А в мажоре вдруг – вселенская печаль...

1973



СОНАТА БЕТХОВЕНА

Ночь. Двое. Свет. – И здесь, и там
Неторопливо зреет.
На плечи ниспадают нам
Две лунные аллеи.

Нам не понять: то – звуков свет
Иль это – света звуки.
И ничего их выше – нет.
Но чудятся в них муки...

1973



РАБОТА ОРГАНИСТА

Он наполняет трубы рьяно
Каким-то звездным веществом,
Чтобы всевышней болью... раны
На сердце вылечить моем.

1974



АПРЕЛЬ

Есть таинство восьмое у разбухшей
Реки,

Когда зима уже в бегах.
Разбросаны ее седые букли,
Забывтые, наверно, впопыхах.

И в воздухе, томящемся от гуда
Какой-то запредельной частоты,
Так ощутимо приближенье чуда,
Как будто бы к нему причастен ты.

А в чаше у Природы всё готово:
Чу... Торкнулась упругая вода...
И, мнится, по велению Христову –
Подвижка пробудившегося льда!

1974



НА КАТКЕ

На подбитых радостью коньках,
В отсвете прожекторов, девчонки
Стайками проскакивают звонко
В невозможно ярких свитерах.

В скорости мороженого ветра,
В сонме красок, веселящих глаз,
Чудятся вдруг... древние приметы
Времени, летящего сквозь нас,

Вплавленность всего земного в этот
Ниоткуда в Никуда полет...
И тогда внезапно стихнет ветер,
И дорожка под коньком замрет.

К свету поднимаю осторожно
Странно-невесомую ладонь.
На бесстрастной матовости кожи
Отразится трепетный огонь.

И становится безумно грустно –
В Хаосе Нетающего Льда –
Зябко ощущать, как никогда,
Найденность мерцающего чувства...

1976



ОСЕННЕЕ

Зияет пустыми глазницами
Деревьев мрачный синклит.
За их бездыханными лицами
Туман клочковатый стоит.
И будто солдаты убитые –
Промозглым зловещим днем, –
Вповалку листья, омытые
Свинцовым дождем...

1975



ТОККАТА ФИГУРИСТА

Вы помните, – к небу устремлен, в мольбах,
Заламывающий руки, парень темно-русый...
Впервые на льду звучит Бах,
Звучат страсти Иисусовы.
В своих посылах красноречив,
В воздухе зависающий,
Он выше верхнего «до» молчит!
И падает ниц, страдающий...



*«Экономьте ваши форте...»
(реплика дирижера оркестру)*

Вы настраивайте души
На какой угодно лад.
Но не рушьте... фортепад
На имеющего уши.

Птицу голоса наружу
Не пускайте всякий раз.
Пусть об этом просят вас,
Будь Сократ вы иль Карузо.

Придержите ваши крики,
Даже если сердце жжет,
Как маэстро бережет
Звук на старой мудрой скрипке.



НЕЧАЯННАЯ БОЛЬ

На дороге спала собака,
Сложив лапы на бок,
Как складывает ручонки
Спящий ребенок.
А большие автомобили
Отводили глаза.



НА БАЗАРЕ

Видел виды, похоже, немалые.
Знал породы сиятельной спесь.
Только нынче что смотришь так жалобно?
До дворняги ужался ты весь.

За здоровье, за женщин и прочие
Тосты ведал на вкус и на хруст.
Ты же умница, пес замороченный,
И давно нашу жизнь – наизусть...

У собаки застыла слеза –
Чистой льдинкой держалась, не таяла.
У собаки кричало в глазах
Человеческое страдание!



НЕЧАЯННЫЙ СВЕТ

Земля до кости омыта
Дождем без конца и края.
А пес – Квазимодо бездомный –
Забился в саду под скамейку
И шел по аллее пустынной
Двуногий в пальто нараспашку
Со зверским лица выраженьем.
В руке у него добыча:
Увесистый круг колбасный.
Внезапно тому Квазимоде
Он бросил сей круг под лавку:
Швырнул он в сердцах, сердито,
Как будто бы бросил камень.
Пес дернулся было с испуга...
Но вдруг от косматой шкуры
Свеченье парною струйкой
Нечаянно отделилось.
И отблеск того сиянья
Коснулся двуногого зверя
Вернув его в человеки.



ДВОЕ

Мы сидим друг против друга,
Кристаллизуя боль.
Мы так заняты этим делом,
Что забываем:
Рядом и всюду – жизнь!

Мы глядим друг на друга,
Ничуть не боясь потерь.
Но мы забываем:
Рядом и всюду – смерть!

Мы почти довольны собою.
Наши глаза – сухи.
Но кто же незримый плачет
Рядом и всюду.



АНТИПОДЫ

Чапу нельзя бить! –
Открывает сын.
В Мишку нельзя стрелять... –
Лепечет он, засыпая.
И я радостно с ним соглашаюсь,
Хотя Мишка и Чапа – из поролона...

А в это время
На другой половине маленького шара
Просыпается мальчик,
Прижимая к себе игрушечных зверят.
И ему улыбается его отец.
Как странно,
Что ходят они вниз головой...



КОЛЫБЕЛЬНАЯ

*Наташе Калиной,
которой однажды был нянем*

Спи, родная. Спи, Наташка,
Синеокая мордашка.
Ты закрой скорее глазки
И страну увидишь – сказку.

Будет там, конечно, царство,
Королева и король.
Благородные красавцы –
Поперек там и повдоль.

Там душа к душе стремится.
Нет – ни зависти, ни зла.
Словно гордые жар-птицы
Блещут храмов купола.

Там и с волком серым нынче
Ладят бабушки и внуки.
Даже грозный Змей-Горыныч
В той стране давно приручен.

А воюют в этой сказке
Принцы – все наперечет –
Лишь за сердце той Наташки,
Что сейчас уже заснет...



ОЧЕНЬ ПРОСТО

Стихи нетрудно сочинять.
Всего лишь нужно вам
Отдать приказ простым словам:
Всем по местам стоять.

Или семь нот чередовать...
Какой тут нужен дар вам?
Здесь математика сперва –
Вполне элементарна!

Бездушный камень оживить
Совсем легко, приятель:
«Отсечь излишний монолит,
И всё!» – сказал Ваятель.

В картине море передать
Иль деву красну в рост? –
С палитры надо краски взять
И нанести на холст.

Всё просто, лишь... художник тот
Возьмет за хвост звезду,
Кто из кирпичиков-простот
Слагает Красоту!



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Было первым: война не кончилась?! –
Сразу малому не понять,
Увидав, как отец мой корчился,
Тщась воскресшую боль унять.

Прикоснусь к этим ранам бережно,
Где бинтами те дни приросли,
Где бессильна времени перекись
Со слезою горькой земли.

И почувствую поле боя то
В круговерти грозной зимы,
Что солдатскою кровью полито,
Чтобы ныне возрастали мы.

И зияют, как явью, просеки
У Отчизны моей в рядах...
Чтобы небо сияло просинью
Во спасенных для нас годах.

Те же головы несклоненные,
Та же стать, та же кровь сейчас,
Миллионократ повторенная
Вновь победно клоочет в нас!

1975



МУЗЫКА ФУТБОЛА

Футбол Мастеров... Многолика –
Сраженье, искусство – Игра!
Непознанной щедростью мига,
Красой неизбывной мудра.

Хмельное крещендо эмоций,
И – форте,
 фортиссимо,
Г - О - О - О - Л!
Да если б сегодня жил Моцарт,
То он полюбил бы футбол!

Футбол – это нечто такое,
Что просто нельзя не любить,
Как ветер победных аккордов
...проигранных суетных битв.

Вновь радость взвивается к горлу,
Никак не вмещааясь в груди.
О праздник, о музыка гола...
Да будет она впереди!

1979



Ах, Россия, моя Россия...





МАМИНЫ СТИХИ

И вновь – к моей округлой дате –
Нанижет мама на свои тревоги
Наивные, но искренние рифмы,
Махнув рукой на ритмы и размеры.

Письмо я с нетерпением раскрою.
И теплою волной меня овеет,
Вдруг радостью нечаянной напомнив,
Как в детстве пахло мамой полотенце...

Но вот легли передо мною
Другие – пожелтевшие листочки.
Те, что отец хранит с Сорок Второго!
А почерк бесконечно узнаваем:

«Я знаю что тебя от смерти заслонило
И – верю – впредь спасет наверняка:
Люблю тебя, родной, с такую силой –
С какою ненавижу лютого врага!»...

Смогу ль когда, хотя б одной строкою,
До этих строчек вышних дотянуться?

1980



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Далекий март...
Наш дом – багрово-чёрен.
Такие же повязки на руках.
Красивую мелодию в миноре
Сменяют плачи в радиоустах.*

А я, малец, не ведавший тревог,
Совсем некстати, звонко и невинно,
Вдруг, показав на радио, изрёк:
Да выключите эту говорильню!

Вся коммуналка разом поперхнулась...
И поседел отец мой на глазах!
Как будто в спину мне уперлось дуло.
А музыка несла холодный страх...

Мне нет причин – на прошлое пенять.
Печаль и радость – поровну и нынче.
Но... включают «Итальянское каприччо»,
И ноги отнимаются опять.

* В день похорон Сталина по радио несколько раз звучала часть из «Итальянского каприччио» Чайковского.



*«Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны...»*

О. Мандельштам. 1934 г.

Когда б он был чуть-чуть томим
Тщеславьем или малой славой,
То взял бы крепкий псевдоним –
В названье, может, драгметалла.

Звучало имя – Мандельштам –
Имен иных пиитов тише.
Но почему же по устам
Его в России ныне слышим?..

Взбирался, как Вергилий, он
К вершинам духа, непорочен.
А мог строфе доверить стон:
«Тебя хочу!» и – точка.

Стихи однажды посчитал
Он сочным мясом винограда:
Один тот сок его питал,
И стал един ему наградой.

Ему неведом был инстинкт –
«Спаستись», что людям дан от века.
И потому – за стих... убит
По жесту Недочеловека.

А ведь поэт и вправду был
Очкарик слабосильный, «кюхля».
Но клином в стену – строчку вбил,
И ...каземат великий рухнул!



*«...А в желтых окнах засмеются,
что этих нищих провели.»
А. Блок «Фабрика» 1902 г.*

Как братством в нищете мы упивались!
Суля всё остальное нам вдали,
В высоких окнах, верно, усмехались,
Что этих гегемонов провели...

Спадают ныне с прошлого покровы.
Но мне важней другая ипостась:
Чтоб ни одна «священная корова»
На нашем настоящем не паслась!

Свобод, как будто, – море в наши дни.
И в желтых окнах чают о народе,
О нем пекутся при любой погоде...
Но этих нищих снова провели!



Гвалт стоял над газетой N-ской
И в бумажную рос войну.
А, случилось, – магнат губернский
Закупил печать на корню.

Обыватель глядел бесстрашно:
Было б кушать...
А разбирать –
Врут ли перья, лукавят власти
Иль буржуи? –
Да так их мать!

А во мне, вот беда, отцова
Память рушит ночной покой:
Днем – в цивильном – пришли за Словом.
Ночью – в кожаном – за тобой?



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

Существительные – кулаки.
Прилагательные – увечны...
Обстоятельства-пауки
Управляют частями речи.

Ложь – в Законе, вокруг, во мне.
Совершенен глагол двуличный.
Кто постиг сей язык вполне,
Человеком слывет приличным.



РЕЧИТАТИВ БАРДА

Перевал. Передышка...

Итожу я

И улыбки, и козни судьбы:

Зацепило меня, покорёжило,

Жизнь моя поднялась на дыбы.

До крови ободрался о заросли

Лжи, предательства...

Но больней –

Биотоки бессмысленной зависти

Меж вчерашних «вода-не-разлей».

Не износишь лица без стыда:

И отступник, и грешник покаются.

Но беда, что в груди разрастается

Торричеллиева пустота.

«Настоящее – ненастоящее!» –

Всюду эти и горечь, и плач.

Жду, ищу и бешусь...

Но обрящу ли,

Вновь пускаясь отчаянно вскачь?

Как в собачьих глазах,

Черно-белыми

Дни бегут предо мною сейчас.

Ох и времечко! Что ты наделало,

Будто смерчем по душам промчась...



ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В. Махалову

За ночью ночь по коже мороз:
Хореи, ямбы, сонет...
Я в толстый журнал листы привез.
И вдруг – неожиданный ответ:

«Сыграем в шахматы? Не мастак?
Проверим форму твою!»
Играл ты крепко: Не помню как,
Я чудом нашел ничью.

«Конец разминке. Добыче срок –
В породе металл искать»...
Ты взял всего-то шестнадцать строк:
«Вот эти пойдут в печать!»

Но следом выдал: «Тебе дано –
Слова собирать в стихи.
Но, может быть, тебе суждено –
В стремнине иной реки?»...

Ну и задачку ты зацепил!
Ведь я – через столько лет –
Не знаю, чашу сию испив:
А стоило пить иль нет?

И вновь мой король забрался в «пат»,
Бежав от смертельных бед.
И лезет в башку такое, брат:
А стоило жить иль нет?

1993



А. Зениткину

Вот и грянули струны летящие
Под могучею дланью твоей.
«Эй, ребята! По полной налей!»
А на выдохе – наше, щемящее:

«Колыма», «Офицеры», «Рябина» ли... –
Полухрип, полустон, полукрик.
Шибче спирта хватая глубинное,
Ввысь летит забубенный твой клик!

Мигом взгляд застилает роса –
То ли нервы мои поизношены?
Но такую же влагой непрошеной
Забирает соседей глаза.

А в груди и светло, и мучительно:
«Пр-р-ропаду без тебя, моя Русь!»
О российская жгучая грусть!
Что больнее тебя и спасительней?

В горле ком... Не могу, не дослушаю
Сердце рвущие песни твои.
Что ж ты делаешь с нашими душами,
Сашка, душу твою разъедри!



Т. Рубцовой

Вокруг двора детдома,
Как возле всех жилищ,
Собаки с лаем злобным
Большим гуртом вились.

Оголодали псины,
Как все, несли урон.
А нищая Россия
Глядела из окон.

Но вот в тумане мгlistом
Ватага из дверей –
Вихрастых голосистых
Детдомовских детей.

Псы вдруг на них – стрелою!
Порвут!.. Но встали в ряд,
Как лист перед травую,
И ну лизать ребят!

Всей шкурою косматой
Дворняжье естество
Узрело в сорванятах
Какое-то родство.

И от худых котлетин
Гурьбою отдают,
Что могут, наши дети,
Убогий наш приют...

Разделены опять мы –
На хижины, дворцы?
О Русь, тебя не вспять ли
Вновь тянут под уздцы?

В дуге – орел двуглавый
И триколор из лент,
И бубенцы державы,
Которой больше нет...

Ни гимны, ни мессии
Не выручат страны.
Спасут мою Россию
Такие ж пацаны,

Такие же девчонки –
Милее не найти –
Из нашенской сторонки
И – с Господом в груди!

1998



*Ксюше Смирновой,
поэту из детского дома*

В жизни твоей – начале –
Слишком хватило мук.
Как же твои печали
Все развести, мой друг?

Может, ненастье сдую,
Душу твою любя:
В маковку я целую,
Зябнущую тебя.

Бог подарил нам слово,
Значит, он нас сроднил.
Свечку затеплю снова:
Боже тебя храни!

Верую: слова лучик
Напрочь растопит лед,
И сквозь глухие тучи
Радость тебя найдет.



Вл. Ширяеву

Ты зайдешь по-простецки, незванно,
Тыкву, мяту с собой прихватив.
И польется занятный и странный
Твоей путанной речи мотив.

Откровений твоих многогранник
Не поднять, не принявши «на грудь».
Что ж, и каждый из нас чем-то странен
И собратьями понят не вдруг.

Знаю, спорить с тобой бесполезно:
Ты ж с Толстым на короткой ноге.
И Шукшинского чудика – «Срезал!» –
Наяву узнаю в мужике.

Вот и вечер в окошке густится.
И лучится твоя борода.
Мнится, видел такие же лица
Я на фресках, за ликом Христа...

1998



Валерию Козлову

«Я никому уже не верю!» –
Ты рубанул строку сплеча.
Жизнь допекла тебя, наверно.
Сказал ты это сгоряча.

Я тоже верю всем не слишком.
Себе, вестимо, – через раз.
Но верю в Бога и, братишка, –
В добро твоих варяжских глаз.

Мы бьем порою словом в ухо!
И ты златой не носишь нимб.
Но, мнится, не обидишь мухи
Пудовым кулаком своим...

Глоток любви, стакан печали –
Вот наша мера бытия.
Но вера как всему начало
Спасет тебя, спасет меня.

Тебя еще не раз обнимут
И жизнь, и женщина, мой друг.
Одни блаженные не имеют –
Ни черных дней, ни в сердце мук.

2003



Б. Бурмистрову

Помнишь? Давний горячечный вечер,
И пивная – трояк на двоих.
Запредельный неистовый ветер
Холодил нам с тобою поддых.

Ты нарушил молчание первым.
На замесе из слез и утрат
Строки шли из нутра. Наши нервы
Отзывались и вторили в лад...

Рядом стайка шальная сидела:
Каждый с виду – сорви-голова...
Вдруг, умолкнув, на них поглядел я.
Надвигалась на нас пацанва.

«Ну, в натуре, даете вы, старые!» –
А нам не было сорок годов –
За знакомство по кружке ударили:
«Мужики! Вмажьте, а? – Про любовь!»...

Как вчера, тот горячечный вечер.
Нет пивнушки – трояк на двоих.
Но оттуда неистовый ветер
Вновь тревожно берет за поддых.

1996



ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ КАВЕРЗИНА

Твоей судьбы читая строки,
Нигде героя не найдешь.
Но только знали мы: Со стройки
Нигде ни в жизнь ты не сойдешь.

Пожалуй, очень старомодно
Ты в гору шел без «пухлых рук».
А на плечах твоих просторных
Лукавый мог проехать друг.

Не зная слов высокопарных,
Кому-то виделся простым...
Так ты и был с Анжерки-парнем.
Не думал вовсе слыть иным.

Как все, хотел дожить лет до ста...
Щадить себя ты не умел.
Не отыскать такое свойство
В кругу «устроившихся тел».

Уйдет, конечно, скорбный вид:
Мол, с нами лик твой неиконный...
Но Русь стояла и стоит
На мужиках таких исконно!

1982



ПЕРВАЯ СТРОЙКА

Григорию Беляеву

В случайную робу одеты,
С лопатой, киркой – не в чести.
Прозвали не зря – рабстуденты.
Точнее словца не найти.

Утрами в автобус облезлый
Врывались, порой натошак:
Худобы, ну точно болезный
Бригадный трудяга-лошак.

«Бугор» ничего нам достался:
Хохол, «чуй-сюда», незлобив.
Нет-нет и смешно распаялся:
Ну що же ты, милый, зроби-ив!»

И мы не роптали: науку
Глотали рабочую мы.
А в перекурах – по кругу –
Глотали густые дымы...

А плотника помнишь дядь Петю?
Философ гвоздя ещё тот.
Дурачится кто, он отметит:
«Ну, этот ещё... в хрен растёт!»

Другой же, дядь Коля, – постарше.
Но выдал нам самую суть:
«Всё ж нету занятия краше,
Чем бабу-молодку тянуть!»

Пахали и Коли, и Вани.
К упряжке, как водится, – спирт.
Не слишком, но переживали,
Что Кеннеди в Штатах убит.

И как это вышло, не помню –
Я был вечерами без сил, –
Но малый Есенинский томик
Все чувства мне разворошил...

Ту первую стройку забыть ли,
И в утренней давке наш путь,
Где нам по семнадцать и чуть,
А души чисты и открыты.

1982



Л. Гержидовичу

Домик твой на опушке прибился.
Этим пихтам ты знаешь года.
Сам – в сединах, а не износился.
По глазам вижу: ты – хоть куда!

Всё именье – твоя половина
И собака по прозвищу Барс.
Ни тебе мебели, ни каминов.
Лес да тишь обнимает всех нас.

Чаю с таволгой, возле найдённой,
Пью. Губами ловлю каждый лист
И твой стих, смоляной и ядрёный,
Точно спелый орех, запашист...

На Руси лепоту я повидывал.
И заморской не чужд красоте.
Но впервые теперь позавидовал –
Благоокой твоей простоте.

Домик твой неказистый затерян.
Рядом – речка, кедрач и зверье.
Как твой путь богознаменный верен!
Как несметно богатство твоё!

2003



О ВЕЧНОСТИ И САПОГАХ

«Ты – челозк, ну, блин,.. – физический,
Пусть и могёшь стихи слагать.
А я – до рвоты – поэтический!
Готов ты разницу понять?» –

Вот так, витийствуя в подпитии,
В бутыль поэт Бодалов лез:
Без церемониев, чувствительно
Мне намекал, что червь я есмь.

Слегка царапнуло под ложечкой:
Не та обида, в морду чтоб.
Пускай потешится немножечко:
Он прав, хоть, кажется, и сноб.

Ведь тридцать лет уже отмерено,
Как крест сомнительный несу:
То тщусь творить я на бессмертие,
А то – ловчу, «в зубах несу».

Да шут бы с нею, с этой вечностью!
Вот клювы дома – вечный вид...
Бодалов прав до бесконечности:
Свободным должен быть пиит!

Меж тем, у нас свобода полная
Жевать свободно вар и жмых...
Что ж ныне с перьев взять других,
Сам Пушкин кошт казенный пользовал...

В терзаннях сих всю ночь ворочаюсь,
Бумагу порчу на стихи...
А утром – дочь с женою в очередь:
«Гони, поэт, – на сапоги!»



МОЙ СЛОВАРЬ

Если не могу отринуть муку,
Если неудачами ведом,
Я кладу на эту книгу руку,
Мне ладонь согреет старый том...

Восхожу в Словарь мой, как во Млечный
Древний необъятный океан,
Понимая вдруг, что Праздник Речи
Много тысяч лет уже мне дан.

Я иду в Словарь Великорусский –
Золотые россыпи мои,
Омывая этой звездной грустью
Душу от запекшейся крови.

В Словаре моем, как будто в Правде,
Снова силу прежнюю беру,
Веру и надежду... Боже правый!
Укрепи в несправедном миру!

1990-2005



РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

(песня)

Стаканы с мадерой и чаем,
Веселие в нашем окне:
Победы пять лет отмечаем,
И столько же от роду – мне.

Звенит о войне, о России –
Мелодий хрустальный венец:
Ведет голос мамы красивый,
Басит, как умеет, отец.

Звучат немудрёные тосты.
И Козин с пластинки поёт.
Счастливые кружатся гости
Под нежно-медовый фокстрот...

Глаза зачерпнули тумана –
На снимок гляжу фронтовой:
Какая красавица-мама!
И батя – орел молодой!



Сонет в сентябре





ЭХО

(романс)

Когда в невидимом чаду –
Обмана, серого лукавства –
Дышать совсем не вмоготу,
Я вспомню музыку пространства,

Где, точно снег на Покрова,
Душа той кипенью горела,
Где были искренни слова,
И невесомость знало тело!

Тогда покажется на миг,
Как будто камня сброшу груды,
Что эхо отроческих игр
Плывет ко мне – предвестник чуда!

Опять лечу во сне, как встарь.
И там, на грани совершенства,
Тех лет негаснувший янтарь
Струится по сердцу блаженством.

И о минувшем не скорбя,
Вновь улыбаюсь я спросонок,
Как улыбается ребенок
От осязания себя...

1984



ПИСЬМО

(романс)

Я перечел твоё письмо,
Какому четверть века скоро.
И вот опять, как обожгло!
И слезы подступили к горлу...

Прости, что нежен не был я,
А был, наверно, просто грубым.
Я помню всё, любовь моя.
И помнят... губы.

Не одолел бы ни строки –
Их у меня не слишком много,
Но – знаешь ли? – мои стихи
Все родом из того ожога!

Вновь перечел твоё письмо.
И вот опять, как опалило.
Оно болит, кричит само...
О боги, как же ты любила!

1992



НЕОПОЗНАННОЕ ЧУВСТВО

Твой адрес помню – сколько минуло? –
Утинобродский первый вал...
Тот ведал звукопись старинную,
Кто имя улице давал.

Мне в том названье зрились – Блоковы
«Испытанные остряки»,
Их дамы-утки в мокрых локонах,
Что брода ищут у реки.

Шутить без меры было модою,
И я старался в меру сил.
И в языке русачки гордя
Найти изъяны норовил...

Зачем – незримо и безустово, –
Неверующему Фоме –
Крест неопознанного чувства ты
Когда-то подарила мне?

И сединою убеленному,
Нести мне до последних дней
Нечаянно приобретенную
Тревогу на душе моей.

1995–2005



(песня)

Я пианино в долг купил когда-то,
Не зная нот. И Бог лишь ведал как,
Через неделю... «Лунную сонату»
Сыграл тебе. А ты в ответ: «Чудак...»

В каком сне горячечном – за вечер,
Впервые взяв гитару, – волшебство –
И... «Только раз бывают в жизни встречи»
Я подобрал. А ты мне: «Ничего...»

Быть может, это выглядело диким:
Но так, что жгло и раздирало грудь,
Я спел тебе одной «Сомненье» Глинки,
Или провыл... А ты: «Какая грусть!»...

Лишь для тебя на теннисной площадке
Творил неотразимые «гасы»,
И превзошел себя на два порядка.
Но молча за игрой следила ты...

Я забузил. Напился. Потерялся.
Ушел на дно. Залег и – ни гу-гу,
Когда твой голос рядом вдруг раздался:
«Прости, но без тебя... я не могу».



(баллада)

Давай взлетим поверх кудлатых туч
Туда, где льнет к губам горячий луч.

Вчерашнее – не надо, не иначе!
Сотрем с лица всю горечь неудач,

Возьмем гитару и споем сейчас
Нам на двоих назначенный романс.

Опять сольются наши голоса,
Забьются вместе, как одно, сердца.

Растает мигом тот недавний лед,
И наши души ринутся в полет!

Твое сопрано и мой хриплый бас:
Созвучия – спасительны для нас.

Пускай до слез возьмет сплошной наив.
Пусть, как вино, в груди густой мотив.

Да, это наш беспрюграммный шанс:
Нам на двоих назначенный романс.



СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

(романс)

За бокалами – губы сомкнем в эту ночь.
Год, как в детстве – неделя, уносится прочь.
Десять лет пролетает, как в юности – год.
Счастье? – Вот оно! Только... в сачок не идет.

Гонишь ты паутинки с углов своих век.
А считала, что юною будешь навек.
Кто чело не бесследно мое бороздит?
А я думал, мне осень совсем не грозит.

Не вчера ль не давал нам покоя малыш?
Улетел он, а в комнате – зябкая тишь.
Не успели друг друга мы чуть пригубить,
А так мало, так мало осталось любить!..

Нам от Господа шло, иль так выпала масть, –
Чтобы вкусное в клювики детские класть,
Чтобы строить, как надо, домашний очаг...
Всё «как надо» у нас, а пред Богом – не так!

Вот и в сердце сегодня пробрался мороз.
Но с вином на губах... соль спасительных слез.

1999



Сколько лет меня ломает?
Видно, с мудростью не в лад.
Сколько зим тебя терзаю?
А люблю так невпопад.

Помню, давний мой приятель,
Что язвил не без причин,
Отхлестал меня: «Ста-а-ратель.
Альпынист, да без вершин».

Он досель порой песочит
За бесплодные мечты:
«Много ль проку с этих строчек,
Где и с кем сегодня ты?»...

Ты пойми-прости, родная!
Эту радость иль беду
Я в груди не изломаю,
Из души не изведу.



АНЮТА

Ты выбирала нас предолго,
Летая где-то меж планет.
И вот, ниспосланная Богом,
Явилась нам, на белый свет...

В свои три месяца от роду
Гляделась пристально в меня.
Неужто ведала, как я
Жил без тебя все эти годы?

И вот уже шагаешь рядом
Ты, Галатеи ипостась.
Анюта – вышним звукорядом
Бессчетно повторяю всласть!

Пора придет, и станешь взрослой.
Дай Бог увидеть не во сне –
Нимб, заплетенный в твои косы,
И – чуть побыть в твоей весне.

А перед тем, как возлечу,
В последний миг прощальной грусти,
Ты – знаю – веки мне опустишь.
И больше счастья не хочу.

1992



ДОЧЕРИ

(песня)

Когда случилось, я не знаю,
Но изменилась дочь моя:
Была своя, была ручная,
А стала, кажется, ничья.

Давно ли губки подавала
Ты мне забавно перед сном?
А нынче – будто бы устало
«Мы» еле щёку подаём.

«Я вам – не кисонька, не рыбка!»
До срока нежностям конец?
Смешно, наверное, что шибко
Грустит об этом твой отец...

Ты встретишь суженого, дочка,
Чтоб мамой ласковою стать.
Но сердце глупое не хочет
Тебя на волю выпускать.

Оно, наивное, стремится –
Пока не выгорит дотла, –
Чтоб вечно – редкостною птицей –
В моих ладонях ты жила.

2000



Семнадцатый твой вешний лист...
Прости мне, дочь, за всё, что было:
Что небожитель легкокрылый
Я – чаще, чем матерьялист.

Кант узаконил идеал:
В нас нет иного, кроме – неба...
Но тот, кто слышит звезд хорал, –
Не часто думает о хлебе.

Других, быть может, я нежней,
Когда... вяжу ночами строчки.
Но ты права, что жить – важней,
Когда... приходит день за ночью.

Пусть у кого-то – лучше виды.
В груди не взращивай завиды.
Твоих сокровищ – не отнять:
Всё дал Господь, отец и мать.

Дитя желанное, свет мой!
Бог не любить тебя не может,
Как и родитель грешный твой –
И сердцем, и душой, и кожей!

2004



СОNET В СЕНТЯБРЕ

(танго)

Горит сентябрь... Не поздно и не рано
В сердечный слог и стать, и кровь облечь,
И бархат глаз твоих, сиянье плеч –
Все самоцвета радужные грани!

Я помню первозданность юных щек.
Чрез годы – чистота неуязвима.
Но тайну глубины необъяснимой
Доныне разгадать в тебе не смог.

Мелодии улыбки и печали
И нежности, и страсти – всё сначала –
Хотел бы взять в серебряный клавир.

В твоём молчанье – обморок органа.
Ты вновь открыла истину в любви
Мне в сентябре – не поздно и не рано.

1995



ФАНТАЗИИ ПОЛИТЕХНИКА

Трио слов мелодией казалось:
«Первый замечательный предел...»
Так вот сочно – уж не помню, где –
Что-то непростое называлось.

Нет бы – суть закона зазубрил,
Да уж больно звучное названье.
И как будто сам его открыл,
Я на все лады его чеканил:

Первый восхитительный предел...
В бок соседке въехал не случайно:
От весны, конечно, я балдел.
Но не отпускала эта тайна.

Первый изумительный предел...
Явно, тут поэт прошел когда-то.
Впрочем, Пифагоры между дел
Сами были тонкие ребята...

Вот когда к перу направил Бог! –
Ждет читатель нечто в этом духе?
Если бы... Скорее – черт помог:
Дернул не ко времени за ухо.

Потому что, как ни говори,
Это ж правда – род безумства братцы:
Чуть не каждой ночью, до зари,
Со словами в кубики играть.

2004



БЕЛОМОРСКАЯ БОГИНЯ

(песня)

Лёнушка-Лёля, Олёна-Олёнка –
Жаркое имя в холодной сторонке.
Губы отверсты, и формы отлиты:
Барышня Северная Афродита!

Вот наважденье. Не спрячу, не скрою,
Что сотворила богиня со мною:
Точно слепой, попадаю в сугробы,
Дивное имя катаю по нёбу...

Имя, что значит по-гречески – факел:
Может – цыганочку, может – сиртаки...
В круге с ней рядом – и этак, и так:
Близко совсем – не прибиться никак.

В косах – Стожарами бродит сиянье.
Только напрасны уловки-старанья:
В руки, в полон огонек не возьмешь –
Руки, того и гляди, обожжешь!

Кажется, искрами воздух прострочен.
Бог разрешил ей носить эти очи?
Два Белых моря там плещут безбрежно,
В них утопаю – уже безнадежно...

1999



СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СОНЕТ

Не обещал тебе любви безбрежность
И нежных слов так мало говорил.
Но с полудетских уст нещадно пил
Ноябрьскую рябиновую снежность.

Гнездилося сердце мягкое твое
В моей ладони прирученной птицей.
И омывали влажные ресницы
Доверчиво, тепло плечо моё.

Прошли года... И вот опять, как прежде,
Зачем-то пред тобой стою в надежде...
Букет признаний жалок и смешон.

Я венчик губ твоих раскрыть не в силах.
В себе хранить осталось только сон,
Где ты живешь, которая любила...

1996



Мне однажды, как молния, ночью –
В час, когда за окном чернота,
Вдруг сверкнули заветные строчки.
Но смыкала уста немота.

Сколько лун, сколько раз я – бесчисленно –
Наяву их стремился найти!
Но, боюсь, только отсвет заветных
И сумел до листа донести...



СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Поэт вырывает всё лучшее из своей жизни и кладет в стихи. Потому стихи его – прекрасны, а жизнь – дурна.

Л. Толстой

Как повезло тебе, мой друг атласный!
Меня вдруг осенило «с бодуна»:
Пока не все стихи мои прекрасны,
То наша жизнь не полностью дурна!

1993



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Пианино негромко скалится,
Если с клавишей... пыль стирается.
Откликаюсь шуткой старинною:
Ты мелодию стёрла – дивную!
Шкаф стеклянно глядит клавирами:
Как любила ты музицировать!
Как взлетали бемоли с диезами
За перстами твоими нежными!..
Позабыты давно Бетховены,
Зато дети наши ухожены.
Все пожухли пиесы Шуберта,
Зато – ах! – твоя «сельдь под шубою».
Спит на полках Шопен с этюдами,
Стали торты твои – ноктюрнами!..
Успеваю на разных поприщах.
Ты ж – полжизни в корыто смотришься.
А глядишь в зеркала – графинею:
Ты ведь гордая и красивая!
Все твои благородны линии, –
Точно времени клавесинного!
Я не дал и частицу сотую...
...Куда слазить? Какой погреб?
Не мешай мне сейчас! Работаю!

2002



Виктору Мирошниченко

Во твой посыл нельзя не верить:
Не потому ль, что в действия час
Свою шагрень ты не измерив,
Выходишь, как в последний раз?

Пронес ты судьбы всех героев,
Какие только в драмах есть.
Но остерегся б я – не скрою –
Нести такой же тяжкий крест:

Чтобы свечой ежевечерне
Пылать... Сомнений в этом нет:
Самосожжением на сцене
Ты занят кряду тридцать лет.

Назавтра снова возрождаясь, –
Хотя вчера еще сгорел! –
Ты запредельно жизнь играешь,
Поскольку видел... Запредел.

И свыше – аурой подпитан,
Разишь без слова, без руки:
Ведь Божьей милостью подбиты
Твои, дружище, башмаки!

2004



«БОЯСЬ НАХОДКИ, КАК ПОТЕРИ...»

Сыну Денису, гроссмейстеру

Поля – клавиатурой бело-черной...
Недвижен он, спокоен или – хмур.
А мысли, как искусные аккорды,
К гармонии влекут ряды фигур.

Но как поэт два слова-антипода
Порой венчает чувством без границ,
Игрок найдет вдруг два безумных хода,
И... – короля кладет соперник ниц!

А после – долго он, смертельно-белый,
Еще не видит ничего вокруг,
Покуда над доской взлетевший дух
Вернется в им покинутое тело.

1999



Изабелле Юрьевой

Задумчиво и безманерно,
Туманный излучая свет,
Смотрела женщина с конверта
Пластинки – сквозь завесу лет.

«Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты...» –
Полузабытое дыханье
Возникло... Смолкли я и ты.

То восходил, то плыл пиано
Тот голос. И казалось, что
Его мы слышали недавно:
Тому назад лет, может, сто.

Нет, перед высшею печалью
И наши – не были смешны.
Но незаметно отступали
На рождестве ее души.

И звуки осязались кожей,
И перехватывала грудь –
Неодолимо и тревожно –
Ее торжественная грусть.



ХРУПКИЙ БАРД

Н. Добрыниной

В твоей улыбке прячется Пьеро,
А в голосе – осадок боли давней.
И, кажется, в тебе самой – ядро:
Клубок из силы, слабости и тайны.

И мнится, что порою ищешь ты
Не звуков оживающие строчки,
А где-то высоко в горах – цветы,
И эхо за пределом многоточий...

В прожилках узкой легонькой руки
Как будто заблудился ломкий лучик.
Гнездятся где-то гроздь, глубоки,
Пока еще не найденных созвучий.

В твоей улыбке прячется Пьеро,
А в голосе – кристаллик боли стылый,
Звучит струны иль грусти серебро,
Как празднество печального посылы.



М. Царегородцевой

Ты родилась в разгар зимы –
В Крещенья вечер...
Носила грубые пимы
В глухой Заречке.

Когда весной невпроворот
Стояли лужи,
К тебе с Томи, наверно, черт
Занес... – джаз-блюзы.

И среди снегов хранила ты,
Девчонка звонкая,
Неуловимые черты
Искусства тонкого.

Когда ж был свет совсем не мил,
И хлеб не сладок...
Романсы Бог в тебя вселил
И дал баллады.

Но песня главная твоя –
В дороге длинной –
Ждет, несомненно ждет тебя...
Аве, Марина!



СИБИРСКАЯ ЮЖАНКА

Скорей всего, случайно
В глазах зелено-чайных –
Твоих эдемских, дева, –
Я вдруг увидел древо.

На нем не увядая,
Плоды благоухают.
Но есть такое чувство:
Там солнцу всё же грустно.

Посыл земли той дальней –
В улыбке inferнальной,
Во взоре том восточном,
Оливковом и сочном.

Вина ли дорогого,
Претерпкого такого,
Букет в тебе хранится...
И вдруг как заискрится!

Боюсь, и Модильяни
Пропал бы в том тумане.
И он бы эти очи
В века отправил – точно!

Сентябрь 2005



БРАТУ МЕНЬШЕМУ

Судьбою неисповедимой
В подарок и в испытан дан –
Ты нам, добрейший злыдень Тима,
И благородный хулиган.

Себе, как будто, знаешь цену
И гордо держишь «статус-хво...»
Хозяев ты считаешь, верно,
Прислугой графства своего.

Но если, нервами стреножен,
Приду домой, горяч зело,
С моей... кирпич просящей рожи
Ты мигом слизываешь зло.

Ты любишь так непостижимо,
В тебе такой любви запас,
Какой всегда бы в этой жизни
Дай, Боже, каждому из нас!

2005



Парижские этюды





НОТР-ДАМ

Запах готической розы,
Краски бездонные – витража,
Органа струящиеся слезы...

И холод той башни, почти в небесах,
Где в кватроченто –
По камню, чеканно –
Было начертано кем-то: «АНАНКЕ!..»*

Здесь тысячу лет вершат литургии,
И все поклоняются Матери.
Здесь Квазимодо внимал Марии,**
А ...трупы лежали на паперти...

Свечи горят, что несут прихожане.
Но почему же безумно так жаль их?
Не горечь ли это судьбы безымянной,
Как стон уронившей когда-то: «АНАНКЕ...»

* Ананке (греч) – рок. Нацарапанная надпись, случайно увиденная В.Гюго в соборе, – единственная причина рождения его книги.

** Мария – здесь название одного из колоколов собора.



В ЛУВРЕ

Сторожа у «Джоконды»,
колпак и кондишэн.
За бронестеклом
улыбки не слышно.

Господи!
Как же ей душно,
одинокко и скучно!

Если бы знал
Леонардо,
что эту улыбку
оценят
в пятьдесят миллиардов!

Кто больше?
Цена как цена.
Столько стоит теперь
небольшая война...

Скорее, пожалуйста,
в другую Галактику
ей дайте визу!...

А в горле комок:
«Простите, ЛИЗА...»



ПЛАС-ПИГАЛЬ

Шерше ля фам?
Только бросьте взгляд:
и здесь и там наготове стоят.
Но ёкнуло что-то: и вы – на Пигаль? –
Скрывали румяна
в полвека печаль...



ПРОРЫВ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Безотказные женщины
лежат
в магазине.
Есть и мелкий товар:
первичный
признак
мужчины...
Уж-жасно повысилось знание!



НИКОГДА БОЛЬШЕ...

«Шарль де Голль» –
сияющее кольцо.
И прямо во чреве его
ослепительно скалился
«форд»...
За прозрачной стенкой
крохотного кафе
двое ничего не замечали.
Слезы омывали Ее лицо,
сошедшее
из Ренуаровой «Ложи»,
странно приближая
и освещая черты.
А его рука...
ВНЕЗАПНО Я ПОНЯЛ,
ЧТО БОЛЬШЕ НИКОГДА
ЕЕ НЕ УВИЖУ...
А его рука
гладила ее волосы...
Но под моими ногами
уже стрекотала
серебристая дорожка,
плывшая к самолету...
И горечь потери
меня не оставляет...

Антильские сны





1

Я вспоминаю ласковый ветер,
деревья, усыпанные бананами.
Пальмы, хлопающие своими ладошами...
Мулатка из Гуа-Наре –
Розали с мечтающими глазами,
вдохнувшая в меня вторую жизнь...
Манговый плод твоих губ
источает нежную влагу.
Млечным соком кокоса
омыта нёба прохлада.
И запах твоих волос
таинственной птицей
трепещет
в силке моих ладоней.



2

Песок служил нам теплой постелью...
Ветер морской щедро
нам отдавал, жадным,
виноградников нежный запах –
нам, беглецам, сокрытым
причудливой тенью листьев.
Мои обожженные губы
делали грудь твою непокорной,
когда мы переплетались...
Казалось, двумя телами
мы заполняли пространство.
И время струилось, поскольку
мы течь ему позволяли...



3

О, эти вечные ласкуши! –
теплые губы волн вечерних.
Ребенком солнце в них играет,
забыв свое предназначенье.

Вода трепещет и стремится
прильнуть к ногам цветов прибрежных
и никого не забывает
отметить поцелуем нежным.

А по камням, свежеомытым
влажным дыханием прилива,
сверкая белизною ноши,
ступают прачки горделиво.

Но ярче кружева в корзинах
зубов их перлы – вспышки блица!
Ждут кисти нового Гогена
эти загадочные лица...

Покидая море и солнце,
прощаясь с деревьями нежно,
чувствую запах корицы
и соки земли под ногами.
Я странно легко проникаю
в глубь девственного леса
и так же легко возвращаюсь
в дом, цветами обвитый.
Встречаю улыбку креолки.
Она в красном, желтом
и густо-оранжевом цвете.
Юную шею ласкают
свежего жемчуга бусы.
Корсаж пускает на волю
смуглые тонкие плечи...
О, скоро любовь коснется
щек, припухлых и робких!
Дай бог тебе, девочка, счастья
и этой земле незабвенной...

**Зубовский
бульвар**





ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР

Памяти Евг. Покатаева

Шестнадцать лет... Я первый раз в столице.
Ты – много старше, надо мной опека,
мой незнакомый брат, московский щеголь.
По нраву всё мне – послефестивальный
особый запах, краски интонаций
и ледяной батончик в шоколаде...

Ты, меломан, водил меня по «джазам»,
По «Серенадам Солнечной долины»,
в том убеждённый непоколебимо,
что Ойстрах послабей Луи Армстронга.
Тащился от фокстрота «В Линд-отеле»,
от «чучи» с приложением по-русски:
«Па-ба-ду-бааа! О задери повыше ногууу!
– А я не могууу! – А я помогууу!»...
(Другие строчки там – не столь изящны...)

В восторге от шальных твоих историй
о «буги», диксиленде, рок-н-ролле –
за что тебя турнули с комсомола –
я привозил домой лихие ритмы:
Не ходите, дети, в школу!
Не танцуйте падеграс!
Пейте, дети, кока-колу,
А танцуйте рок-под-джаз!...

И надо же: с тобой в коммуналке –
Центрального ТВ вальяжный диктор,
кумир официанток ресторана,
что рядышком – у Крымского моста.
Он часто был незанят почему-то,
ходил к тебе, и сам же угощался,
как друг опустошая полки ЗИСа,
чем в транс порой вводил твою супругу.
Затем курил, смотрел себя по «теле»,
местами философски замечая:
«А, черт возьми, талантливо же, старче!?»
В его таланте я не усомнился,
и... – через годы – стал ему обязан,
что Гамлета – Высоцкого увидел:
Бесценные билеты на Таганку
вручал мне – щедрым жестом – Анатолий.
Забуть ли, как мы трое мастерили
из косточек сливовых ожерелье
для дикторши – неотразимой Люси,
любви очередной Жуана-Толи.
Увы, сгорел артист безмерно рано...

В друзьях твоих немало звёзд ходило,
не самой первой свежести, быть может:
спортсмены, «золоты перья» и актёры...
Мне льстило пожимать им крепко длани
и слушать их охотничьи рассказы.

Средь них один заслуженный из МХАТа,
с фамилией не вовсе безызвестной,
прочёл спяна рязанского поэта,
стихи переиначив непристойно.

Ты с ним тогда поссорился до драки:
«Юродствуй! Но Есенина не трогай!».
А сам ты ночью той же вдохновенно
читал мне Блока, Кедрина на память.
Могло ли это пролететь бесследно
для жадного, как будто губка, слуха?..

На старом «Новодевичьем» ты ведал
все плиты знаменитых и великих.
А скромное надгробье мне открыло,
что твой отец, рабочий типографский,
когда-то жил в строеньях монастырских,
здесь обрета и свой покой последний...

А помнишь, как в «Серебряном» на даче
попали мы... в футбол да с мастерами!
Ты и среди них совсем не потерялся,
и в грязь лицом ни разу не ударил...

С твоим «Проход повсюду – Мосэнерго»
мы «брали» все дворцы и все арены.
Но стадион «Динамо» – это что-то!
Поляна – просто лакомое блюдо
для преданных Игре седых «фанатов»,
что «Лужники» прозвали огородом...
Но всех, конечно, умиляла Маша –
поклонница армейцев с прибабахом:
«А сёдни Шестернев играть не будет! –
колено... Алик щас мне попался...»

Когда на край Москвы ты перебрался,
покинув наконец-то коммуналку,
встречались мы все реже, лишь на вечер.

Как водится, иных друзей завел я,
и шалости прибавились другие.
Порой меня коробили, не скрою,
твои повторы, свойственные старшим.
По поводу сему язвил напрасно.
Не обессудь за ту мою ершистость
«объевшегося рифмами «всезнайки».
Потом за прегрешение воздастся
от сына мне – таков закон природы...

Как прежде, через Зубовку рвану я,
едва дождав зеленого сигнала, –
в колодец-двор, где время заблудилось,
где всё звучит рентгеновская плёнка
на той – «ветхозаветной» – радиоле.
И, мнится, будто вновь – безумно молод,
и ноги сами отбивают такты:
«Буэна сэра! Синьорина! Пап-туб-да-а!»
Кемерово-Москва, 1993

Испанское лето





ИСПАНСКОЕ ЛЕТО

Симфоническая трагикомедия с оперными
и балетными сценами
(в четырех частях, не считая увертюры летописца
и пространного эпилога героя)

Действующие лица:

Герой – художник из России, мало известный в
своей стране, ищущий новых импульсов к творчеству
– героический тенор.

Кармен, она же Карменсита – провинциальная
балерина без постоянного ангажемента, испанка с
примесью русской крови
– высокое сопрано.

Размышления героев иногда протекают на фоне
разнохарактерных песен и танцев толпы.

Действие происходит на восточном побережье
Испании в г. Аликанте с краткими экскурсиями по
городам Испании.

Время действия – 90-е годы XX века.

УВЕРТЮРА ЛЕТОПИСЦА

Приятель мой историю поведал,
на родину из странствий возвратясь.
И вдруг... повеял дикой страсти ветер,
что опалил нежданно и потряс.

Доверчиво, прилежно, даже рьяно
я в музыку облек рассказа нить:
шальные форте, нежные пиано
мешали долго мне спокойно жить.

Кармен... Она жива в любую эру!
И здравствует всегда ее герой.
Вот потому и отзвук хабанеры
на сцену прорываются порой.

И в музыку несет и боль, и счастье...
Своим героям снова я дивлюсь:
они уже за гранью чьей-то власти.
Я вместе с ними плачу и смеюсь.

1. РОНДО СТРАСТИ

Посланница иной – минувшей – эры...
Не знаю, наяву или во сне
то девочкой... то пылкою гетерой...
синьорою являешься ты мне...
У церкви Сан-Николас де Баре
и вправду нагадала мне цыганка,
что где-то здесь на шумном суаре
я повстречаю русскую испанку.
Ты меж гостей задумчиво сидела.
Руки твоей нечаянно рука
моя коснулась. Вольтова дуга
воспламенила душу вдруг и тело!
Тебя послал мне жаркий Аликанте,
чтоб растопить в усталом сердце лед.
Твое густо-медовое бельканто
к неведомому берегу зовет.
Желанная бредовая Сирена.
Амброзия из жгуче-красных роз.
Ты для меня... смертельная арена,
ристалище моих безумных грез.
Ты для меня – и сладость, и мученье,
и вся как будто солнечный удар!
Опасное твое прикосновенье
первобытный дикий жар.
Я взять хочу, терзать твой рот пунцовый,
напиться соком кожи допьяна...
И, как цунами в море, снова, снова –
по телу сумасшедшая волна...

Все естество твое озарено
звучащим светом. И порою мнится,
что в Маху Гойи перевоплотиться
тебе самой природою дано.
Венеру бы открыл в тебе Веласкес,
Мадонну – Сурбаран узрел свою...
А у меня, боюсь, не хватит красок,
чтоб кистью душу выразить твою,
чтоб отразить, как любишь и люблю я,
что предо мной ты кипенно чиста...
Палитра, из которой холст малюю,
не знает то, что ведают уста...
Синьора? Синьорина? Синьорита?
Ты – дьявола подарок для меня
иль божее посланье?
Карменсита! Неистовая музыка огня!
Пустое, будто скоро осень, холод,
коль кровь из жил выплескивает вновь.
Я непреложно, бесконечно молод.
Пылай, моя последняя любовь!

2. БОЛЕРО КАРМЕН

Боюсь, мне речи не достанет,
таких, как ты, не знаю слов.
Пусть огневой испанский танец
всю изольет мою любовь...
Я – ранний плод... под солнцем юга.
Уже не верила, прости,
что можешь вдруг нагряться ты,
что встречу истинного друга,
мой кабальеро из мечты.
Я не страшусь тебе открыться,
всю душу до конца излить.
Да, раньше я могла влюбиться...
Не знала, что смогу любить!
Тебе доверила такое,
что – никому нигде дотоль.
Ты чудодейственной рукою
снимаешь давешнюю боль.
К тебе лечу – бушует радость,
преображая дождь и зной.
Ты незаслуженной наградой
мне послан богом: ты – святой.
И в нашем возрасте, и в странах
различия не вижу я.
Люблю тебя. И я – желанна.
И крик в груди моей: твоя!
Все для тебя мои обличья:
наряд и образ, и колор.
Кармен я... Донна... Беатриче...
Как пожелает мой сеньор...
О, как смешны теперь соблазны,
обуревавшие меня!

Ты будто все дурные сглазы
легко рукою той же снял.
Порой в глазах твоих читаю
я неуверенность во мне.
Другого способа не знаю,
как сжечь ее в моем огне.
К тебе невероятно тяга.
Ты – мой идальго, мой герой.
И ни в каких одеждах Яго
не разлучит меня с тобой.
Меня сомнения не мучат,
Но вдруг... охватывает дрожь:
а если я тебе наскучу,
ты отвернешься и уйдешь?..
Нет, не снести с тобой разлуку.
Учиться заново ходить?
Скорее перестану жить...
Или для всех я стану куклой.
С тобою рядом дни и ночи
я чем угодно быть учусь.
Я – глина, ты – Буонарроти.
И потерять тебя – боюсь!

3. ПИЦЦИКАТО СОМНЕНИЯ

Карменсита! Что с тобой случилось?
Ты сегодня вовсе не моя.
И глядишь, как будто сквозь меня.
Вся необъяснимо изменилась.
Что моей Кармен мешает жить?
Не дает покоя зов Мадрида?
На твою чакону, может быть,
королевский двор имеет виды?
На большой арене выступать...
Шквал оваций: «Браво!».
Мило очень...
О Мария Санта-богомать!
Танец живота! – Буэнас ночес!
Не гляди тоскливо за окно –
в Сарагосе или Барселоне
всем потребно от тебя одно:
тело, тело... иль с него купоны.
Как же мог поверить я, глупец,
в то, что любишь, – это чувство свыше, –
что сильней ты духом, наконец!
Боже милосердный! – Ты не слышишь...
Если б знала ты, как я хочу,
чтобы Карменсита прежней стала!
Я, медведь, – увидишь – разучу
танец болеро с тобою к балу.
Ты сегодня вовсе не моя.
Монолог мой – путаный и зряшный...
Ищешь нечто позади меня.
Этой ночью мне с тобою страшно...

4. КАПРИЧЧИО РЕВНОСТИ

Быть красивой – это божья кара!
Этот крест повсюду носишь ты:
от Бильбао и до Гибралтара
букву «О» поют мужские рты.
Ты умеешь просто, без искусства
ветреной иль строгою предстать.
Но не избежать оскалов гнусных...
Будешь комплиментов ожидать!?
Красота твоя невыносима.
В мире, столь жестокостью больном,
рядом с восхищением – насилье,
если не в обличии одном...
Нет. Не скоро век мгновений чудных
к нам вернется сызнова, мой друг.
О Кармен! Тебе порою трудно?
Но тому, кто близко, – больше мук.
Если ты жемчужиной любим,
непременно чувствовать отчасти
псом себя цепным сторожевым...
Странное – не правда ль? – это счастье.
Горечь не избыть – не позабыть,
хоть бодрит опасность в малых дозах.
Как рябину, прежде чем убить,
подслащают первые морозы.
Грусть – Любовь как близнецы Сиама,
Янус, что с двуликой головой.
Где звезда, что нам с тобой сияла,
что плыла высоко над толпой?

ЭПИЛОГ ГЕРОЯ

И вновь минор в последней части.
Остывших чувств осенний вид...
Я не убил испанку, к счастью,
и потому... Она летит
в Сан-Себастьян – Буэн вояже! –
туда возжаждала до слез.
И с ней, наверное, на страже
оруженосец новых грез.
Дай бог ей только не разбиться.
Авось, и вспомнит тот привал,
где, как подраненную птицу,
ей душу я отогревал.
Не слишком сладостные речи
прощально спели мы в сердцах.
Была разыграна беспечность
в ее египетских глазах.
Твердил себе: в ней все обманно –
и взгляд, и жест, и смех, и грусть...
Но на развалинах романа
собирал осколки чувств.
В Кармен бушует хабанера.
Ту чашу выпало испить...
Она хранила столько верность,
сколько любила, может быть.
Моя шальная круговерть...
И слава богу, что излечен:
не может обморок быть вечен.
Иначе... он зовется смерть.
Что было, то почило в бозе:
вступил в ребро тот самый бес,
и воспарил я до небес.

Теперь опять – к холсту и прозе...
Любовь бесследно не отринуть,
как не сбежать и от себя.
Благодарю Вас, синьорина,
за все, что дали мне, любя.
За боль невольную прости.
Твою терзал изрядно душу.
В испанку Север занести нельзя,
ничто в ней не нарушив...
Хаста ла виста, Аликанте!
Здесь может каждый человек –
аборигены, эмигранты –
недурно скоротать свой век.
Но мне милей другие виды.
Не климат-зной и шумный люд,
я одиночество люблю,
а тут – фиесты и корриды.
Навряд ли этот уголок
в родных пенатах будет сниться.
И мне звонит уже звонок:
Ох, поясни-и-и-ца!..



На пути к Богу





*«Не говори: отчего это прежние дни
были лучше нынешних? Потому что не
от мудрости ты спрашиваешь об этом».*
БИБЛИЯ. Книга Екклесиаста.

Он был людьми судим не строго,
И обходил его злой рок.
Он ни во что не ставил Бога,
А Бог от бед его берег.

Бивал он голову пречасто,
Но оставалась та цела.
Он покидал вагон несчастный,
Тот, что затем сгорал дотла.

Был до полвека молодым
И... безалаберным на диво.
Отмечен лучшей половиной,
А неудачей не любим.

В дому жила благая весть –
С детьми, женой пригожей, верной.
И хлеб насущный даждь нам днесь –
Тому, кто «Отче наш» не ведал.

И ложь, и ханжество в законе
Неистребимы – понял он.
В замену правды непреклонной
Постиг лукавство и поклон.

Пора пришла... На небо взгляд,
На Вседержителя воскинул.
Прошел крещения обряд.
Казалось, пыль грехов отринул.

Но может ли безбожник бывший –
Без покаяния, без слез –
Питать надежду, что Всевышний
Осыпет лепестками роз?

Он умножал в миру старанья.
В храм со свечою шел опять.
Но, странно, Бог его взыванья
Не торопился принимать.

Он церковь покидал, тоскуя
Сильней, чем прежде, оттого,
Что во груди своей не чуял
Благословления Его,

Что не дано ему покамест
Святой воды душой испить,
Слезой икону окропить
И на коленях петь акафист.

И было в ночь ему виденье.
Сказал Господь: «Кто крест надел,
Не очищается мгновеньем
От зла не любых Богу дел.

В тебе равно добра и худа.
Так веселись во дни удач.
А коль ненастие покуда,
То размышляй, винись и плачь.

Внемли: твой труд и всяк успех
Рождают зависть у соседа.
Но несть обиду – тоже грех,
Когда вокруг поболее беды.

А суд людской не значит много.
Важней Суда Христова – нет.
И помни: возлюбивший Бога
Не ждет взаимности в ответ».

2001



**Притча новая,
иль, может, старая...**





ПРИТЧА НОВАЯ ИЛЬ, МОЖЕТ, СТАРАЯ: ПРО МУЖА СЛУЖИВОГО И – В ТОЙ ЖЕ РОЖЕ – СЛОВ ИСКАТЕЛЯ

Жил да был при соцьязлизме при застоюшке,
В граде небольшом, но и не маленьком,
Инженерик молодой да раскудрявенький.
Не сказать, чтоб вовсе дурачинушка,
Он карьеру возделал инженерскую:
Не велику слишком, но изрядную.
И все же в разуме он был не согласованном:
Отрешился от карьерки компартейновой,
Что сама однажды в руки отдавалась.

Но когда пришел капитализмушко,
Озирался муж недолго на советчинку:
Управляющим он ловко воспристроился
К нуворишу ближне-закордонному –
Вышло так – разбойничку цивильному.
Чуть не вострел кудрями сыру землюшку...
И тогда воспрыг он понадежнее:
В службу тоже – по бумажицам – приватную
И, при том же, вроде как – полуказенную.
Не такое приключится в смутно времечко...

Жить бы так отцу семейства далее
И добра бы наживать ему, как водится.
Ведь и женушку имел он раскрасавицу,
И детишки возрастали распригожие...

Да водилась, вот беда, за эфтим молодцем
Давняя страстишка безобидная,
В деле управленческом – излишняя,
Ежли не сказать – совсем уж вредная:
Выражался он порой стихотвореньями,
Разномастные историйки вынашивал.
Бросить бы ему занятие праздное
Иль бы поздравительными одами –
В самом близком круге – ограничиться...
Но, стряслося, – стали эти опусы
Изредка во свет ходить-печататься,
Умножая блажь у сочинителя.
Мудрено ли, что такой столоначальничек
Вытворял черт знает что за фокусы:
Мог в разгар труда, посреде всего собрания,
Воспарить и в облако укутаться!

Токмо все сходило с крыл сему везунчику.
Вопреки таким безумным шалостям,
В службе – поважали раскудрявого,
Потому как с дышлами-законами,
Кипюю лукавого бумажества –
В пользу всем – недурно управлялся он.

И Господь любил, похоже, православного:
На хлеб-масло и густой медок возмазывал.
Лишь в сундук, на черный день откладывать,
К пенсии да деткам на приданое –
Не вступало в буйную головушку.

Бесшабашно думал, безалаберно,
Будто его зрелость перезрелая
Век не потускнеет-не закатится;
Будто и медок его, и маслице
Вечно не растают-не избудутся.

А года уж за полсотни перекинулись,
И пора б остепениться-призадуматься:
А нужны ль кому его произведеньица
Иль снести их от греха куда подалее?
Но куда там! Он – горящим перышком –
Чиркал по ночам, не уставаючи.
Спятивши, воздумал тем писанием
К лучшему поднять свою Отчизнушку.

Здесь-то – на пути зело тернистовом –
Встрелися ему песняр с песняркою,
Оба-два – таланты бескорыстные.
Да как начали они его творения
Облекать в напевы душезвучные!
И как взяли – оба-двое – с него денежку
Как собратья искренно испрашивать –
Токмо лишь для нужд искусства чистого!
С ними поделился с наслаждением...
Да и никому он не отказывал
В меркантильных, ежли мелких, просьбицах.
Отдавал, что мог, назад не требуя:
Может, и зачтется на том светушке.

Сказка уж к концу, вестимо, близится.
Сети-то – не видно разве? – плещутся.

Но зато на полке том-собрание
Трех веков пиитов россияновских,
В нем тиснен сонет его озвученный –
Никаким топориком не вырубишь!
Но зато народ, пришед по случаю,
Нет-да рукоплещет его строфицам,
А девицы красные и спелые
Нет-да просят роспись в его книжицу.
Но зато его стихотвореньица
Песняры те дарят всем, певаючи.
Даже ворковала их балладушку –
Пару раз – Певица свет Народная!
И жжет сердце свечечка та самая,
Жжет-болит уж непереставаючи...

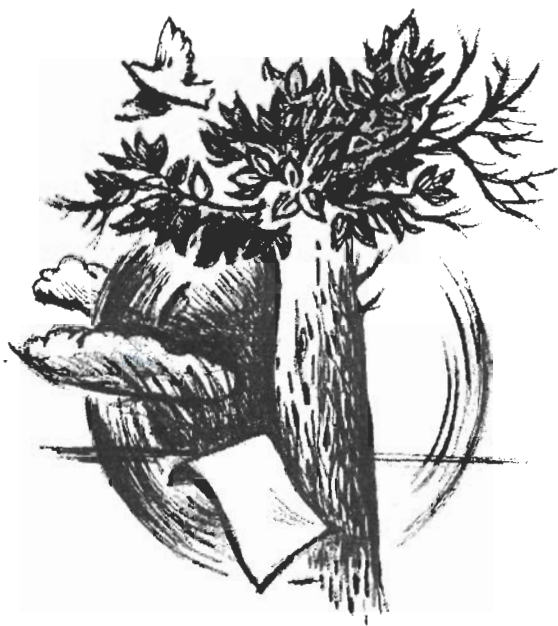
Тут продрал искатель очи затуманены,
Возревел словострадатель страшным голосом:
– Разъедри твою во жабры рыбку-матушку!
Что ж ты натворила-накосячила!..
Ничего та рыбка не ответила,
Потому – от смеха захлебнулась...

2005



О, женщина!

Песни





В книге отмечены стихи, которые стали основной песен. В этой главе я не счел нужным давать их песенные варианты, пусть даже порой сильно отличающиеся от оригиналов стихов. Они выйдут в нотном альбоме вслед за этой книгой. Исключения составляют «Пацаны» и «Прощание с Парижем», где остались в песне только идея или чувствонастроение исходных строк. Да еще – «Я потерять тебя боюсь», какую композитор Владимир Пипекин отрыл, вырезал из моей поэмы «Испанское лето» и доказал, что сей фрагмент может существовать самостоятельно. Это еще до того, как поэма стала рок-оперой, музыку к которой написала Марина Царегородцева... Всё остальное, что показываю здесь, это некоторые тексты, написанные **на предложенные** мне мелодии. Возможно, не все они смогут жить без музыки. Но у песни свои законы... Валентина Толкунова, народная артистка России, прежде, чем записать песню «Дочери», заставила меня трижды переделывать текст в сторону упрощения. Я не сразу понял правоту Певицы: «Далеко не все, даже самые лучшие, образы уместны в песне. Это не чтение. Здесь каждое слово должно быть услышано и сразу понятно каждому человеку в зале». С этим трудно спорить. Но, сдается мне, если авторами ярко занесены в песню их настроение, чувства... Тогда принимается и недосказанность, а если хотите, и декаданс какой-нибудь, и сюрреализм... Так мне кажется.

Автор



О, ЖЕНЩИНА!

(На музыку Марины Царегородцевой
к мюзиклу «Болеро Кармен»)

Прикасаюсь к твоей нежной коже.
Для меня ты, как чистый родник.
Ты и душу, и кровь мне тревожишь,
Пусть продлится навек этот миг.
Даже ямочка ниже затылка,
Рук изгиб и ладони цветов –
Всё в тебе так безудержно пылко,
Что по телу неистовый ток!

Припев:

Женщина! Желанная женщина!
Жгучая дикарка моя!
Гордая, мятежная, нежная...
Бедствие, спасенье, судьба...

Прикасаюсь губами к ресницам
И ловлю я дыханье твоё.
А в груди бьется раненой птицей,
Рвется сердце навывлет моё.
Вновь до дрожи в коленях волнует
Глаз твоих осиянный туман.
Как безумный тебя я целую,
Пью волос этих медный дурман...

Припев.



ПЯТЬ ПОЦЕЛУЕВ

(На музыку Марины Царегородцевой)

Ты гоним страстями без сомнений,
Нет лекарства от болезни той.
Ты – искатель вечных приключений!
Но зачем иду я за тобой?

Припев:

Пять поцелуев –
Всё, что нужно мне.
Пять поцелуев
В полной тишине.
Пять поцелуев
С губ твоих сорву!
Пять поцелуев!
И больше не возьму...

Каждый раз совсем без сожалений
Ты меняешь свой предмет любви.
Даже если станешь на колени, –
Твой пожар, конечно, не в крови.

Припев.

Ты шагаешь, как завоеватель.
Сам себе ты кажешься герой.
Ты – любви отчаянный искатель,
Но пока не ведал таковой.

Припев (2 р).



ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

(На музыку М. Царегородцевой)

«Шарль де Голль» – блистающее кольцо!
И где-то во чреве его
Вдруг замедлился времени бег...
За прозрачной стенкой маленького кафе
Двое ничего не замечали.
Он смотрел в сияющие глаза,
Глаза, что вобрали в одно
Всей Вселенной негаснувший свет!
Кофе стыл позабытый. Но сжигало язык
Смертельное безумство поцелуя...

Припев:

Мир вдруг затих.
Нет! Ослеп, оглох!
Мир для двоих
Сотворил нам Бог!
Губы к губам –
Это буйство грёз!
Губы к губам –
От Земли до звезд!

О прощай, прощай, старина Париж,
Монмартра и Шамп-Зализе
Пряный запах из глуби веков...
Но зачем, зачем на моих губах
Вкус неразделенного безумства?

Как стара история, как стара! –
Древнее, чем сам Нотр-Дам...
Не с тобою было, не со мной...
Но потери горечь на моих губах
Больше ни на миг не исчезает!

Припев.



И ЭТО – ТЫ!

(На музыку М. Царегородцевой
к мюзиклу «Болеро Кармен»)

Весь мир, Вселенная со мной,
И это – ты!
Мотив приходит в час ночной
И говорит со мной одной,
И это – ты!
Ночная падает вуаль,
Уходит вся моя печаль.
И это – ты!

Мне нужен чей-то острый взор,
Кремень-черты.
Чтоб встать судьбе наперекор,
Мне нужно счастье выше гор,
И это – ты!
Меня с небесной высоты
Ласкает свет твоей звезды.
И это – ты!



Я ПОТЕРЯТЬ ТЕБЯ БОЮСЬ

(Музыку нашел В. Пипекин)

Я не страшусь тебе открыться,
Всю душу до конца излить.
Да, раньше я могла влюбиться...
Не знала, что смогу любить!
Тебе доверила такое,
Что никому нигде дотоль.
Ты чудодейственной рукою
Снимаешь давешнюю боль.

Припев:

Меня сомнения не мучат.
Но вдруг охватывает дрожь:
Что, если я тебе наскучу,
Ты отвернешься и уйдешь...
С тобою рядом дни и ночи,
Кем ты захочешь, быть учусь:
Я – глина, ты – Буонарроти...
Я потерять тебя боюсь!

Все для тебя мои обличья,
Наряд и образ, и колор:
Кармен я, донна, Беатриче...
Как пожелает мой сеньор.
Порой в глазах твоих читаю
Я неуверенность во мне.
Другого способа не знаю,
Как сжечь её в моем огне.



ПАЦАНЫ

(На музыку В. Пипекина)

Летит, душой пречиста,
Ватага – из дверей –
Вихрастых, голосистых
И озорных детей.
Заморские мессии
Нам вовсе не нужны.
Спасут мою Россию
Вот эти пацаны!

Припев:

Я верю в вас, девчата!
Я верю в вас, ребята!
Я верю в вас, российские пацаны –
В наследников державы,
Белесых и чернявых.
Я верю в вас, российские пацаны!

Недаром, нет, недаром –
В минувшие года –
Стояли наши парни
За села, города.
И если вновь Отчизна
В час трудный позовет,
Не пожалеют жизни
Они за свой народ.

Припев.

И только им по силам
Поднять свою страну.
Построить вновь Россию
Удастся пацану
И этой вот девчонке –
Милее не найти –
Из нашенской стóронки...
Дай, Господи, им светлого пути!

Припев.



ШАХТЕРСКИЙ ПОДВИГ

(На музыку Владимира Чардынцева)

Кузнецкие недра от века
Углем и рудою щедры.
Суровым трудом человека
Природы приходят дары.
И как из жестокого боя
Не все возвращались штыки,
Так ныне порой из забоя
Приходят не все горняки...

Припев:

Шахтер – это значит призванье!
Пускай здесь хлеба нелегки.
Но гордо свое носят званье
Кузбасские горняки!

Придется и правнукам нашим
Гонять уголек на-гора,
Пока, может быть, станет краше
На свете на белом пора.
Идут за отцами и дети,
А завтра в забой станет внук:
Нет выше династий на свете –
Рабочих натруженных рук!

Припев.



ШАХТЕРСКИЙ НОВЫЙ ГОД

(На музыку Владимира Пипекина)

Каждый год – в декабре –
Кузнецкий край звучит в мажоре.
Каждый раз – в декабре –
От вас чудес мы ждем, шахтеры.
Горняцкой гвардии вы все богатыри –
Знакомые, родные сердцу лица.
В своем подарке вы нам солнце сберегли,
Он дорог нам, как золото пшеницы!

Припев-1:

Новый год! Он к нам стучится раньше всех!
И это ваш, друзья, успех:
Шахтерский Новый год встречаем!
Новый год! В Кузбасс приходит торжество.
И вся страна глядит тепло,
Гордится вами – горняками!

В декабре – каждый год –
Встречают жены вас цветами.
В декабре зимний лед
Вновь от улыбок ваших тает.
Поклон вы, братья, заслужили до земли
За подвиг свой горняцкий каждодневный!
Пускай хранит вас Бог, родные земляки!
Удача пусть вам светит неизменно.

Припев-2:

Новый год! Он к нам стучится раньше всех.
И чарку крепкую не грех
Поднять сегодня вам, шахтеры.
Новый год! В Кузбасс приходит торжество.
И вся страна глядит тепло,
Гордится вами – горняками!

Припев-1.



ШАХТЕРСКАЯ СТОЛИЦА

(На музыку Владимира Пипекина)

Есть немало городов,
Великих городов России.
Но лучше моего, уютней – не найти.
Город Кемерово мой –
Такой нарядный и красивый.
Но главные рассветы, верю, впереди!
На проспект Советский я ранним утром выйду,
На Весенней стану и звонко запою:

Припев:

Люблю тебя, шахтерская столица!
Горжусь тобой, Кузнецкая земля!
Где б ни был я, любимый город снится.
Всегда со мной ты, родина моя!

Пусть летят мои года –
Плывут мои года над Томью.
Я встретил здесь любовь, растут и сын, и дочь.
Только помню каждый день,
Как уголь нам дается, помню:
Рискуя головой, мой брат уходит в ночь.
Горняки-шахтеры! Счастливых вам восходов!
Чтобы добрым утром мы вместе спеть могли:

Припев.



КУЗБАССА РАБОЧИЕ РУКИ

(На музыку В. Пипекина)

Мы стоим у нового порога.
Вот и дни ученья позади.
Нас зовут нелегкие дороги:
И завод, и шахта – впереди.

Припев:

Все пути открыты.
Подошла пора:
Путевку в жизнь нам дали мастера.
Глядит Кузбасс, любя.
И верим мы в себя:
Ведь нам Россию
Рабочими руками поднимать!

И Гагарин начинал когда-то
Вот в таком училище, как мы.
Может быть, еще и нам, ребята,
Открывать планеты и миры.

Припев.

Нам сегодня дела нет важнее,
Чем Кузнецкий край преобразить.
Потому что нет земли милее.
Здесь нам строить, здесь детей растить.

Припев.



ПЕСНЯ О КЕМЕРОВСКОМ РАЙОНЕ

(На музыку М. Царегородцевой)

Вспомним те года в старинной дымке,
Где плыла хрустальной речки звень,
Где стояла Крёково-заимка –
Матерь всех Кузнецких деревень.
Новостройка и Металлплощадка:
Смотрят ныне, словно города!
Но и двор крестьянской малой хатки –
Мил душе российской навсегда.

Припев:

Кемеровский район –
Тут все мои друзья.
Кемеровский район –
Жизнь и судьба моя.
Кемеровский район –
Наши леса-поля!
Кемеровский район –
Наша навек земля!

Нивы, доли знаем поимённо,
Что ласкают взоры вновь и вновь.
Шитые сибирской елью склоны...
Где-то здесь мы встретили любовь.

Как легко дышать в своей деревне!
Как хорош Притомья старый вид!
Тут к тебе с поклоном все деревья,
И родник чудесный вкус хранит.

Припев.

Хлеборобы славны урожаем,
Фермы наши знает весь Кузбасс.
Ненадолго если уезжаем,
Воротиться манит сердце нас.
Любим мы и петь, и веселиться,
Лучше края в мире не найти.
Все вокруг – родные сердцу лица!
Здесь детей и внуков нам растить!

Припев.



КРАЙ МОЙ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ

(На музыку М. Царегородцевой)

Земля моя, привольная, родная!
Зеленоглазый край любимый мой!
Меня колосьев марево ласкает,
Когда ступаю вечером домой.

Листва, как бархат, ляжет мне на плечи.
А запах кедра освежит лицо.
Но станет краше этот дивный вечер,
Едва взойду на милое крыльцо.

А завтра снова с песней зашагаю.
Ведь ждут меня работа и друзья.
Земля моя – красивая такая!
Я без нее не проживу и дня.



КИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ

(На музыку В. Липекина)

- Хлебом Кийский берег наш богатый.
Но людьми – богаче во сто крат:
В каждом добром доме, каждой хате
Наш селянин гостю будет рад.

Припев:

Край любимый мой,
Моя земля!
Кийский дом родной,
Ты ждешь меня.
Добрая зреет пшеница,
Золотом в пальцах струится.
Край, куда душа стремится,
Малой родиной зову.

Речка Кия катит воды чисты,
Арчекас манит – гора любви.
Наша Раевка... Вторая пристань...
Это всё течет в моей крови.

Припев.

Мариинским звоном колокольным
Пусть летит благая весть ко мне.
Шлет Господь зерно полям привольным.
Хлебороба славят на земле.

Припев.



СТРАННИКИ В НОЧИ

(перевод с англ.), из репертуара Ф. Синатры,
музыка Б.Кемпферта, англ. текст Ч. Синглетона

Странники в ночи –
Двух взглядов встреча.
Странники в ночи –
Сомкнулись плечи.
Искорка любви
Вдруг темноту зажгла!
Теплых глаз твоих
Звала безбрежность...
С губ твоих сама
Сочилась нежность...
Сердце знак дало:
Ты стать моей должна!

Странники в ночи
Так одиноки были!
Странники в ночи –
Друг друга мы открыли.
Будто сотню лет
Мне звучал – «Привет!»,
Будто вечно был твой взор,
Объятье в танце, разговор...

С той ночи любви –
Не расставались.
Ведь одной крови
Мы оказались.
Счастье дал нам тот
Случайный поворот...



Имеющий в
руках цветы...
Рассказы





ГЭБЕШНЫЙ ДЕТСАД

Володя отпустил руку сына у калитки детского сада, и пацан, перепрыгивая через лужи, понесся к крыльцу. Внезапно что-то защемило в Володином сердце. Вроде и детсад был хорош, и воспитательница у парня симпатичная... Только вдруг встала перед глазами зловещая огромная спальня из его детства, и он, беззащитный, под уколами множества глаз...

Вовчик Кочергин уныло ковырялся в остывающей каше. «Что? Не кушается?» – улыбнулась Лилия Ивановна, подошедшая к нему с тарелкой, на которой возвышались кубики сливочного масла. Размешав несколько кубиков, она скормила Вовчику с ложки повкусневшее месиво. Лилия Ивановна была совсем еще молодой воспитательницей с ранней проседью в каштановых волосах и какими-то бархатными карими глазами. Она нравилась Вовчику, и, похоже, не без взаимности. Руки у нее были такие же добрые и мягкие, как у мамы, когда она пыталась пригладить его непокорный чуб.

В столовой Вовчик сидел обычно с черноволосой, острой на язычок Ленкой Серегиной, сероглазой хохотушкой Светкой Зелинской и светлокудырым пупсиком – Людой Крошень. По Люде, кажется, тайно сохло едва ли не все мальчишеское население детсада.

Детсад был кэгэбешный, и, наверное, почти все его обитатели имели какое-то отношение к загадочному серому дому по площади. Ленка, как под-

слушал Вовчик, родилась от... надзора разведчицы-лейтенантки за сосланным из Москвы дирижером симфонического оркестра. Светкина мама работала врачом в санчасти. А Люда Крошень... Папа Люды работал самым главным генералом. На детские дачи она всегда ездила не вместе со всеми на автобусе, а на новенькой, сверкающей эмалью цвета морской волны и глаз Люды «Победе». Вовка тоже гордился своей мамой – отца у него не было, – медсестрой в той же санчасти. К самому главному генералу, когда тому требовались уколы, подпускали только ее, потому что только у нее такие руки...

В то утро подавали творог и рисовую кашу. Вовка сделал замечание Ленке: «Творог вилкой не едят!». Та немедленно фыркнула: «Указчиком – по морде ящиком!». Все засмеялись, а Вовчик покраснел как рак. Такое с ним всегда происходило, если чьи-то слова заставляли его врасплох. У него совсем пропал аппетит... Он, как его называли мамыны подружки, был subtilным мальчиком. Переболел едва ли не всеми детскими болезнями, которые упоминались в учебнике педиатрии. Плюс к тому даже умудрился где-то подхватить год назад редкую форму тифа, звучное название которого – паратиф «А» – он с непонятным для себя удовольствием повторял воспитательницам...

После завтрака мальчики немного поиграли в футбол. Вовчик стоял на воротах, сооруженных из старых кроватей, а Борька Буянов бил ему слабо надутым мячом с развалившейся шнуровкой и полуторчащим хоботком камеры. Когда локти были сбиты в кровь, Вовчик предложил: «Айда пожарную саранчу ловить!». Пожарными они называли

красно-черных красавцев, что нечасто попадались среди зеленого племени кузнечиков и другой попрыгучей живности. Еще реже попадались бронзовые жуки с невероятно завидным блестящим панцирем. Такого «пожарника» или жука можно было выгодно обменять на конфеты или печенье, которые кое у кого оставались после родительского дня на даче. Вовчик залег в траву, высматривая добычу и погружаясь в стрекот, жужжание, гудение и запахи разнотравья. Как назло, на этот раз не попадались ни «пожарники», ни «бронзовики». Борька достал выпирающее из кармана подарочное яблоко, сочное, белого налива. На «дай куснуть» он откусил и вывалил изо рта кусочек Вовчику. Потом толкнул его в бок: «Смотри! Людка Крошень со Светкой в домике играют. Пошли, трусы у них снимаем!» Вовчик покраснел. Предложение застало его врасплох. Ни о чем подобном он, конечно, не помышлял. Но, похоже, отказываться было нельзя, не по-мужски. Чтобы окончательно рассеять колебания друга, Борька добавил: «Жаловаться-то некому. Екатерина Васильевна – я сам видел – пошла с сумкой на автобус...»

Екатерина Васильевна, старший воспитатель, была грозой всего детского сада и особенно его мальчиковой половины. Пацаны приходили в трепет, если девчушка, усмотрев обиду, начинала громко взывать: «Катерина Василь-нааа!» Женщина неопределенного возраста – ей могло быть и 35, и 50 – она даже в самое пекло носила платья под горло. Ее голос напоминал скрип деревьев на ветру. Русые волосы всегда туго стягивались пучком на затылке. Стальные глаза были посажены на лицо, не выражающее ничего, кроме ответствен-

ности за возложенный на нее надзор за детьми. Сильно провинившийся приговаривался ею к публичному выставлению нагишом посредине большой общей спальни, лицом к девчоночьей половине. Правда, преступнику позволялось испросить прощения у обиженной, а значит, и помилование. Но если следовал жеманный ответ: «Нет, не извиняю», участь его была решена. Когда приговоренный добровольно не раздевался, на помощь надзирательнице приходила здоровенная, с плечами Поддубного, нянечка Силовна. И жертва, стелая, простаивала по песочным часам ровно пять минут на лобном месте. Вовчик просто не мог слышать вопли несчастных и закатывал голову одеялом...

«Пошли!» – решительно потянул его Борька. Сказочный домик был расположен в аккурат к лесу, откуда надвигались злоумышленники, задом, а к корпусу, стоящему в отдалении, – передом. Борька, как истинный стратег, подтолкнул Вовчика перекрыть просторное окно, а сам ввалился через фигурный дверной проем: «Кто-кто в тереме живет?». А затем, вытащив из-за пазухи деревянное подобие пистолета, сделал свирепое лицо: «Снимайте трусы!» «А я все Катерине Васильне скажу!» – жалобно пискнула Светка. «Так она тебе и поверила!» – усмехнулся Борька. Казалось, вполне удовлетворившись таким доводом, Светка как бы нехотя пристащила плапочки до середины бедер... Вовчик через окно тоже влез в домик. Он чувствовал, что делает нечто совсем нехорошее, но себе-то он не мог не признать, что его влечет происходящее. «А ты?» – Борька наставил дуло на живот златокудрой...

Конечно, Вовчику нравилась Люда. Иногда ее кукольная головка витала над ним в каком-то дымчатом овальном ореоле, вроде девического портрета его бабушки, что стоял в их комнате на этажерке. Воображение заводило его столь далеко, что он... касался ее губами... И вот сейчас непреодолимая жалость к ней охватила душу Вовчика. Он уже готов был остановить Борьку...

«Дурак ты, и не лечишься!» – презрительно разжала наконец Люда венчик своих губ. И не шевельнув пальцем, стала бесстрастно смотреть, как Борька деловито стягивал ее голубые в звездочках трусики до пониже тонких коленок. Довольный содеянным, он устало откинулся на скамеечку. Вовчик не знал куда девать глаза...

«Тааак! Кочергин и Буянов!..» – с ужасом услышал над собой Вовчик зловещий скрип, обладательницу которого нельзя было спутать ни с кем. «Что здесь происходит?!» – скрип достиг силы звука ломающегося дерева... Откуда она здесь, ведь уехала же? Так или иначе, но вид ухмыляющейся неподалеку Ленки Зелинской не оставлял сомнений в том, кто ее привел. «Пока идите, обедайте. Разберемся с вами после сончасы...» – дерево перешло на обычный скрип.

Ощущение страшной, неотвратимо надвигающейся беды охватило каждую клеточку хрупкого тела Вовчика. Его бил озноб, на щеках выступил болезненный клочковатый румянец, а тыльные стороны ладоней испещрились какими-то сиреневыми галочками. Нет... Только не это... Он не сможет после этого жить...

«Да как вы только могли до такого додуматься!? – всплескивала руками Екатерина Васильевна,

выявляя на лице подобие жизни. – Ну ладно – Кочергин... Но ты-то, Буянов! У тебя отец такой достойный человек!» Действительно, Борькин отец был очень достойный человек, полковник. Вовчик слышал, как Борька хвастался, что его отец главной отцов других пацанов. Слабая надежда зашевелилась в голове Вовчика. Он и раньше замечал, что в число столь сурово наказуемых как-то не попадали мальчишки, отцы и матери которых главнее других. Значит, если Борька скажет...

Следствие долго ни к чему не приводило. Зачинщика не было. Вовчик верил, что Борька спасет его. Ведь они же не-разлей-вода и в футбол, и в войнушку. Он вдруг вспомнил еще, как на майском утреннике они, обнявшись с Борькой, пели: «Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой...» Все мамы потихоньку слезы утирали. Да и у Вовчика голос дрожал: уж сильно жалостливая песня. И так было хорошо... Кряжистый Борька сопел, глядел в пол, иногда всхлипывал, украдкой поглядывая на Екатерину Васильевну. Полупрозрачный Вовчик застыл беломраморным изваянием, глядя в одну точку и твердя себе только одно: нет... он не сможет перед всеми...

«Так кто же все-таки?» – решила подвести черту старшая. «Это не ты, Буянов?!» – скорее утвердительно, чем вопросительно обратилась она к Борьке. Тот наконец понял, что от него требуется, и еле заметно покачал головой: «Не...». «Ну что, Кочергин, ты будешь продолжать отпираться?». Ужас происходящего как будто уколом заморозил Вовчику язык, как было недавно, когда ему вырезали гланды. «Ну ясно! Молчание – знак согласия. Буянов, ты можешь идти просить прощения. А

ты, Кочергин, сегодня никакого прощения не получишь!» — отрезала Екатерина Васильевна, давая понять, что разговор окончен. Вовчик знал, что она уже не поверит ему: наказанный должен быть! Чтоб другим неповадно было. Только все равно он не встанет.

Люду увезли к вечеру домой, а сероглазка Светка, недолго поискав что-то на небе, пискнула Борьке: «Извиняю...» Вовчик решил, что не дастся ни за что. Когда Силовна начала было стаскивать с него одежду, он с невесть откуда взявшейся силой вцепился кулачками в резинку черных сатиновых шаровар заодно с рубашонкой, перешитой ему из маминого креп-сатинового платья. Казалось, эти посиневшие кулачки невозможно разомкнуть. Но силы были неравны. «А-ааа! Моя мама вас всех уколами заколет!» — вдруг выпалил Вовчик, уже не надеясь на спасение. На удивление, именно эта неосуществимая угроза остановила нападающих. На мертвом лице Екатерины Васильевны отразилось подобие раздумья. Она отозвала Силовну. «Ладно, Кочергин, иди ложись пока. Но имей в виду: это просто так тебе не пройдет!».

Вовчик не очень представлял в своем виду, как и что ему не пройдет. Понял только, что сегодня его больше не тронут.

Спать он не мог. Его сердечко продолжало бешено колотиться. Вовчик знал, что, если бы это случилось, он перестал бы жить. И вдруг увидел себя неживым в красном гробике на табуреточках. Увидел, как плачут мама, ее подруги, Лилия Ивановна... И горячая влага наконец хлынула из его глаз, упрятанных в подушку, сделав ее сразу мокрой. Рыдания еще долго не отпускали его, пока

вдруг он не узнал на своем затылке теплую и родную руку Лилии Ивановны: «Ну не плачь. Все хорошо. Слышишь? Завтра мама придет».

Утром Лилия Ивановна уехала в город. Но к обеду ни она, ни Вовчкина мама не появились. А приехала черная «эмка», из которой важно вышел усатый прямой военный с четырьмя звездочками на погонах. Отобедав, военный расположился на веранде и начал по очереди вызывать на беседу воспитательниц, нянечек, Екатерину Васильевну...

До конца сезона ни Лилия Ивановна, ни Екатерина Васильевна на дачах больше не появлялись. А осенью Вовчик пошел в школу и потихоньку стал забывать о своих детсадовских бедах.

1994 г.



А МНЕ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ДНЯ...

Помню себя с двух лет. Островками – эцизодами, разумеется. Самое раннее воспоминание связано с моей няней Анной Павловной. Это были первые послевоенные годы в сибирском городе. Родители порой сутками дома не показывались. Отец, военный, ночи напролет в военкомате пропал. Мама, врач, то в больнице дежурила, то по вызовам ходила. А своих бабушек и дедушек я на этом свете, увы, не застал. Поэтому, видно, и поселилась в нашей просторной коммуналке Павловна, или Паална, как ее все называли. Надо же было кому-то присматривать за двумя бедовыми мальцами.

Как теперь могу вычислить, няне тогда уже за пятьдесят перевалило. Смутно вырисовывается ее тогдашний облик какого-то доброго гнома... Смешно признаться, но меня, кажется, долго не могли отучить от вредной привычки – пет-нет да и прятаться от всех в укромном месте, после чего приходилось... стирать штанишки. Стирая, Паална потихоньку ворчала, называла «хорёк душной», а потом гладила мои белесые вихры, тщетно уговаривая никогда так больше не делать...

Паална обожала «самое важнейшее для нас искусство». Мы с братом, понятно, не возражали против таких походов в кино втроем. Из фильмов тех только и осталось в памяти картинка из трофейного черно-белого «Тарзана»: огромный волосатик, прыгающий по деревьям и бьющий себя в грудь,

как в барабан. Зато помню, что добросовестно пялился на экран, посасывая леденец...

В нашем доме Паална прожила где-то до моих четырех лет. До Арины Родионовны она явно не дотягивала. Сказок, по-моему, вообще не знала. Малограмотная, она, однако, читала нам те немногочисленные детские книжки, что появлялись в доме. Едва ли не по складам разбирала строчки сквозь выпуклые стекла круглых очков. Как-то Паална читала стишки про оленей, спасающихся то ли от пожара, то ли от наводнения. И меня очень уж тронули слезы бедолаги-олenenка, обращенные к подгонявшей его матери-оленихе:

*Ну, мама, ты должна понять,
Что вы-то взрослые олени,
А мне всего четыре дня,
И у меня болят колени...*

Я заставлял няню повторять этот отрывок снова и снова. Боялся, что олененок не спасется. Но, как будто, все там окончилось благополучно. А эти вот немудреные строчки так почему-то и остались во мне на всю жизнь.

Пролетели годы. Родители переехали на свою родину, в теплые края – продлевать свою старость. Но я уже прикипел к Сибири и, хотя был еще не женат, уезжать не собирался... Но как-то получилось, что с Паалной связи не потерял. Она мыкалась по белу свету. Где-то на Кавказе здравствовал уже пожилой ее сын. Но, судя по всему, она ему не нужна была вовсе. Силы кой-какие, несмотря на восемьдесят с лишком, у нее еще оставались. И Паална наезжала ко мне – погостить ненадолго, умудрившись поселиться в доме престарелых в об-

ласти, не далекой от моей. Посылала письма, открытки, испещренные запредельной «клинописью», какую только я один и мог разобрать. Изредка и я отправлял ей поздравления или крошечные переводы. «На эти деньги, — корябала она, — покупаю лотерейные билеты. Все, что выиграю, тебе достанется, сынок». Но, само собой, в лотереях ей везло не больше, чем в жизни.

Однажды Паална приехала опять и попросилась у меня пожить. «Я тебе не помешаю и убраться понемногу смогу», — проговорила она, жалобно глядя сквозь толстые линзы... Я всё еще холостяковал, и площадь вроде бы позволяла потесниться. Но, аккуратно, готовился к свадьбе, и просьба застала меня врасплох. Не отказал, но и ничего определенного не ответил. Она все поняла и больше не приезжала. А вскоре получил от нее последнее письмо с моими фотокарточками. И понял вдруг, что Паална готовится к уходу. Засуетился было к ней съездить, да куда там — дел хватало по горло. Запоздало вспомнил о своем благом намерении через много месяцев...

И еще немало лет проплыло. У моих детей, слава Богу, полный «комплект» бабушек-дедушек. Правда, живут они неблизко, в других городах. Но по мере сил и возможностей принимают — и с удовольствием — участие во внуках. Однако не уверен теперь, что няня — такая добрая и самоотреченная, как Паална, детям была не нужна. Когда порой срываешь свои неудачи, свое дурное настроение на них, виноватых лишь в том, что, за недосугом твоим, недополучили любви и взяли от тебя не только достоинства...

А я как будто не так уж и виноват перед своей няншей. Но почему же опять подступают горечь и стыд? Я ведь не знаю даже, где ее могилка, никому, конечно, не нужная. Только вновь застилает глаза влажный туман, когда моя младшенькая вдруг оживляет наивное четверостишие:

*Ну, мама, ты должна понять,
Что вы-то взрослые олени,
А мне всего четыре дня,
И у меня болят колени...*

1993 г.



ГДЕ-ТО ЗА КАМЕНКОЙ

Весь Сереекин барак стоял на голове. Из комнаты Кудияровых раздавался дикий рев Стаськи. Отец молотил его тяжелым солдатским ремнем, время от времени выкрикивая: «Я те покажу больничку!»

Сережке было девять лет, а соседскому Стаське – на три года больше Их застукали в тот момент, когда старший обучал младшего рукоблудию...

Наконец Стаська вырвался и, подбежав к двери, звонко выдохнул на весь коридор: «Богачи-и!». Это «богачи» больно ранило Сереекино сердце, потому что относилось явно к их семейству Морозовых. Его отец служил замполитом городской пожарной охраны, а мать – директором магазина. Их квартира в бараке выделялась среди прочих. У всех было по одной обшарпанной комнате, а у Морозовых – две, с зеленым и розовым накатом. Да еще одна из комнат – большая – была разделена крепкой перегородкой на спальню родителей и детскую для Сереежки с младшей сестренкой. За окном в эту зиму у них хранилось мясо и сливочное масло. И стоял уже, но не работал холодильник ЗИС. А мать Сереежки ходила во всем каракулем: шуба, шапка и теплая муфта в придачу.

Слева от Морозовых жили дядя Павел с тетей Пашей. Дядя Павел работал каким-то немаленьким инженером на авиазаводе, а неграмотная хохлушка тетя Паша была домохозяйкой, счастливой, что

вышла за инженера. Павлуша, как она называла супруга, почти каждый вечер накачивался до бесчувствия. Но шума там никогда не было. Разве что иногда из их комнаты доносилось протяжно-ласковое: «Пашуня-я!». Потом тетя Паша показывала Сережкиной матери следы этих «пашунь» — огромные синячищи на пухлых руках.

Дом был дружный. Если зимой кто-то снаряжал санки за водой к колонке или к сараю за углем, всегда находился помощник с ведрами и коромыслом. А когда заболел кто-то из мало-семейных, то соседи тоже не давали тому помереть холодной смертью. И картошку по осени помогали копать друг другу. Ребятишки тоже держались вместе. Играли во дворе в штандер, ножички, третьего лишнего. Горки зимой устраивали без помощи взрослых...

Комнату напротив занимала истопник тетя Феня со взрослым сыном Федькой, недавно отсидевшим за драку с поножовщиной. С ними соседствовала семья милиционера Каткова. Он-то, как говорили, и посадил Федьку. А рядом обитал одинокий и добрейший часовщик Лазарь Соломоныч, вдовец. Он вечно чего-нибудь изобретал и дома, и во дворе: то замысловатую скамейку вкопает, то турник смастерит, показывая ребятам и «стульчик», и «склепку». Иногда он зазывал к себе Сережку, потчевал сушками с леденцами. Сережка, выдавший и получившее угощение, как с голодного края поглощал дареное, пока Лазарь поглаживал его по кудрявой голове.

Сережкина мать, приходя домой с работы, скидывала свой каракуль, надевала телогрейку и весь вечер пахала, как лошадь, до прихода отца.

Сережка тоже таскал и воду и уголь. Поважатель его времени не было. Близко от дома шла торговля на ветхом базарчике, куда Сережку отправляли покупать мороженые колеса молока. Эти колеса хозяйки вываливали из железных мисок разного калибра. Здесь же стоял водочный ларек, заставленный чекушками и поллитровками. Возле него мужики троили и двоили. У ларька обычно кто-то валялся. «Машиной стукнуло», – шутовали пацаны. «А какой номер-то машины?» – «21-20». Столько бутылка стоила...

Еще одну хфатеру, как ее называла хозяйка, занимало семейство обувщиков Саморезовых с тремя детьми. Старшая из них – незамужняя, лет под тридцать Любка – была, наверное, самая умная в бараке – переводчица. Сережка был потрясен, когда увидел ее в этой роли на хоккейном матче с заезжей иностранной командой, куда она сама и провела его. Любка бойко переводила речь ихнего тренера, и Сережка сразу в нее влюбился под бравадную музыку, решив, что обязательно станет переводчиком, когда вырастет.

И в последней комнате жила тетя Зоя, уборщица, с дочкой – Стаськиной одноклассницей Викой, обладательницей огромной огненной копны волос. Она была симпатичная, но все ребята дразнили ее рыжей, и Сережка из солидарности тоже.

Когда пришла пора идти в первый класс, родители сочли ближайшую школу слишком бандитской. Но Сережка с первого дня ходил в школу один, почти в центр города, через Каменский мост, который старухи почему-то окрестили молочным.

Их район имел, конечно, какое-то название – то ли Октябрьский, то ли Ленинский. Только все

называли его кратко – Закаменка, поскольку располагался он за необъятным Каменским логом. Проходя мост, Сережка каждый раз дивился целому, как ему виделось, городу, деревянному и убогому, разбросанному на дне и склонах лога. Вряд ли от их дома до серокаменного центра с обкомом было больше километра – полутора. Но Сережке этот путь казался длинным. И он порой сокращал его, научившись запрыгивать на зазевавшиеся у перекрестка низкие полуторки.

Семейство Кудияровых, располагавшееся справа от Морозовых, было самым многочисленным в бараке. Дядя Саша Кудияров работал на заводе токарем – «золотые руки». Тетя Вера трудилась санитаркой в больнице. Сестра Стаськи Галька, рослая наливная десятиклассница, была предметом вздыханий тюремщика Федьки. С ними же, за фанерной перегородкой, обитали родители дяди Саши – пенсионеры, бывшие учителя – Александр Иванович и Ольга Алексеевна – Стаську все били, и Сережка уже простил ему «богачей». Он думал о том, как это несправедливо, что они с сестренкой живут в такой богатой семье, а Стаське так не повезло с родителями...

В комнате Кудияровых нередко пахло перегаром – дядя Саша тоже пил изрядно. Однако Сережку влекло к ним. Он любил заглядывать в крохотную выгородку к старикам. Те подробно расспрашивали Сережку про дела в школе, а ему было чем похвалиться. Александр Иванович принимал вдруг к настенной радиотарелке и сообщал Сережке, как взрослому, что-то важное из услышанного. Дед Саша был домкомом и самым уважаемым в бараке. Отец Сережки тоже иногда при-

глашал к себе Александра Ивановича, и они чаевничали, рассуждая о международной обстановке, о видах на урожай. Спорили, когда жилось лучше: до войны или после. Однажды дед Саша принес журнал с большим портретом важного лысого в пенсне. Отец выхватил у него этот журнал и порвал на клочки, горячо убеждая старика, что того могут забрать за хранение портрета врага народа...

А со Стаськой Сережка не раз уже попадал в истории. Тот подбил его как-то поискать у отца пистолет. Сережка нашел «макарова» с полшой обоймой. Днем, когда все вроде были на работе, они нарисовали мишень на уличной уборной и устроили стрельбу. Все бы ничего, но они не удосужились посмотреть, пуста ли уборная... И какая-то бабка, увидев над головой свежепробитые дырки, с истошными воплями выскочила оттуда, держа в руках свои причиндалы... Досталось тогда им обоим по первое число. В другой раз Стаська соблазнил Сережку съездить без спроса в цирк, что на другом конце города, на вечернее представление. Вернулись они под полночь в кромешной тьме. Обошлось: отцы-матери были счастливы, что ребята остались целы и невредимы... Как-то Стаська затеял во дворе переброс железным обручем. И обруч этот, конечно, прилетел в самый Сережкин лобешник. Ладно еще не в глаз. Было море крови и слез.

Вообще-то кровью обитателей их квартала было не удивить. Почти каждую неделю в Закаменке кого-то убивали или подрезывали. Сережкин отец однажды открыл даже пальбу в воздух, возвращаясь почью с работы. У него настойчиво просили закурить. Сразу отстали. Но участники честных потасовок посили среди пацанов ореол героев.

Однажды нашли убитым, с ножом в спине, Альку Коровина, непререкаемого авторитета окрестной шпаны. Так даже первачи долго пересказывали друг другу, «как этот слон сначала отключил троих (шестерых), но пропустил предательский удар в спину...»

Вой Стаськи Кудиярова затихал. А Сережка решил, что, когда все уляжется, он даст другу покататься на своем «подростке», сколько тот захочет. Если, конечно, пришлют с завода новую вилку вместо сломанной.

А Сережкина мать, проведя с ним душеспасительную беседу, потом еще долго будет заглядывать в его глаза по разным поводам. И Сережка научится невинно подставлять свои чистые глаза, уже твердо зная: правды там ни одной живой душе не прочесть.

1994 г.



ИМЕЮЩИЙ В РУКАХ ЦВЕТЫ...

(Святочный рассказ)

*Москвичке Тане Копосовой,
нечаянной первопечатнице этих строк*

Нужно было просто внушить себе, что это всего лишь предновогодняя хандра... Уже знакомый страх разочарования в Чуде, которое никогда не случается... Вернее, даже не в нём, а в собственной готовности к нему, проявляющейся одним и тем же, изученными Светкой симптомами: радостным замиранием, не только в сердце, но и в кончиках пальцев; особой настороженностью слуха – «Не проскользнул ли конверт в щель почтового ящика?»; неумным желанием двигаться – искать! Что? Кого?..

Светка сидела дома над курсовым, но ее одолевали слезы... Все! Больше она так не может. Не может ради жалкой копейки пресмыкаться на работе. Не может больше унижаться дома, пусть и не стоя, как в детстве, на коленях в углу. Только куда уходить с ребенком-то? А куда деваться от этих похотливых начальников – а их над ней много, – которые искренне полагают, что если девушка одинока и зависима, то они вправе получить от нее все и немедленно...

Светка росла без отца. Жутко завидовала тем одноклассницам, которые на праздники или по воскресеньям куда-нибудь отправлялись с папами или просто гуляли, пряча свои ладошки в отцов-

ских дланях. Отец у нее, конечно, был, но непутевый, как объяснила мать. Потому-то она его и выпала, запретив даже приближаться к дочери. Да похоже и тот не горел желанием ее видеть. Но Светка тайком, опасаясь, что ее услышит мать, разговаривала с его карточкой под одеялом:

– Папочка! Милый! Любименький мой! – целовала она фотку.

Иногда ей снился сон: папа подходит к ее кровати, садится у изголовья, гладит ее плечи, целует светлые волосы – в маковку и в шею, чуть пониже затылка... А утром Светка плакала от того, что не могла вовремя проснуться. Ей казалось, что папа и вправду приходил.

А потом, в тех редких случаях, когда мать бывала в духе и отпускала гулять, девочка бродила по улицам, незаметно заглядывая в лица прохожих. Но так и не встретился никто, похожий на отца.

Много лет спустя ей удалось повернуться во сне и увидеть того, кто целовал ей волосы. Но это был уже не отец...

– Никаких почтовых ящичков, поняла? – отчеканила Светка, глядя в зеркало. – И никаких чудес. Его нет. Виктора просто нет... Ты придумала его, как продолжение сказки о Золушке. Только она была не о тебе написана.

Любимой сказкой Светки всегда была «Золушка». Потому, наверное, теперь ей так нравился фильм «Красотка». Это ведь тоже про Золушку...

Ей захотелось завесить зеркало, обманывавшее чужим отражением. Разве это у нее такие глубокие глаза и влажные, чуть приоткрытые губы? Светке привычнее было считать себя если не уродцем, то

серенькой мышкой, потому что именно это отражалось в глазах ее матери и тех, кого она не могла назвать подругами. И в этом ее детство тоже походило на сказку, только другую – о Гадком Утенке, которого никто не любил, или о Серой Шейке, которую все позабыли...

Отвернувшись от зеркала, Светка присела перед сыном. Тот в который уже раз пытался установить красный кубик на верхушке башни, по зыбкости напоминающей Пизанскую. «Он меня любит! – от этой мысли почему-то захотелось плакать. – Я для того его родила, чтоб кто-то любил... Я не подумала, каково будет ему. Что я могу ему дать? Разве ему хватит одной моей любви? А больше у меня ничего нет...»

– Пойдем гулять? – Светка улыбнулась ему, с трудом сглотнув горечь.

Про ее Семку воспитатели судачили, что он вечно в одних и тех же колготках. Хорошо хоть на горшок всегда ходит... Они еще не знали, что эти прочные колготки – Светкины. Прележавшие двадцать лет в шкафу у матери. Почему она сохранила их – одни-единственные? Из бережливости? Или просто руки не доходили выбросить?

В то, что мать могла, прикасаясь к этой вещичке, вызывать теплые воспоминания, Светка не верила. В душе матери никогда не было тепла. Говорили, что ее очень ценят на работе, и Светка не позволяла себе усомниться в этом. Только что ей была за радость от этих неведомых достижений? А женщиной мать была видной и в компаниях веселой. Только уж случается: в гостях – Ананья, а дома – каналья... Лет в 15, кажется, со Светкой что-то произошло. Во время очередного сканда-

ла, а повод всегда находился, мать, взбешенная попеременно Светки, по привычке взвизгнула:

— На колени, дрянь паршивая!

Светка побледнела, хоть и бледнеть-то ее бескровному личику было некуда, и вдруг медленно выговорила:

— Во-первых, я не дрянь. А во-вторых, не перед кем больше на коленях стоять не буду!

Мать, кажется, поняла, замолкла. И с тех пор пыл умерила... Светка слишком хорошо помнила, как болят колени после того, как постоишь в углу... Час? Два? Время окутывало ее мутным коконом и сдавливало так, что темнело в глазах. Почему ее матери так нравилось наблюдать, как дочь стоит перед ней на коленях? Может, она-то как раз и верила в сказку о Гадком Утенке и заранее мстила ей?

...С сожалением оторвавшись от кубиков, Семка деловито подтянул колготки и потопал за Светкой в соседнюю комнату, в которой они и жили. В большую оба выбирались только когда ни матери, ни отчима не было дома. Торопливо просунув головку малыша в горлышко свитера, связанного соседкой, знавшей Светку с такого же возраста, она со страхом взглянула на часы: отчим должен был вернуться с минуты на минуту.

Отчим в их доме появился весьма кстати. Не бог весть, что за мужичончишка, но крепкий, жилистый, а главное, деньги в дом приносил, хотя занимался непонятно чем. Он был младше матери на пять лет. Несмотря на малость роста, руку имел тяжелую. Плач малыша его раздражал, и он мог отвесить такой шлепок, что кроха отлетал в сторону.

Однажды они оказались дома вдвоем, и Светка до сих пор не могла очистить память от омерзитель-

ных ощущений его несвежего дыхания, его тяжести, измерявшейся не килограммами, а глубиной отвращения. Он продирался в нее, как одичавший зверь, и Светку, видно, тоже отбросило на этот животный уровень, где борьба за существование допускает все... Свалившись на пол, отчим несколько минут глядел на нее пустыми, все еще страшными глазами, потирая укушенную шею, потом прохрипел:

– Только попробуй матери вякнуть!

Но и без его предупреждения Светке это и в голову не пришло бы. Поделиться таким можно только с близким человеком... она знала, что может услышать от матери: «Сучка не захочет, кобель не вскочит».

– А чё такого? – уже миролюбиво продолжал отдышавшийся отчим. – Чё, я должен на стороне еще баб искать, когда можно дома – и с гарантией. – Чувствовалось, что он был в восторге от собственного красноречия.

Кто знает, если бы тот хоть чем-то ее привлек, может быть, Светка и согласилась бы на такое «житье втроем». Но уже этого «чего-то» тут и в помине не было.

– Ну почему, ну почему так? – все думала Светка. – Ну почему простой мужик, солдат мог сказать девке, лежа под телегой: «Это ж только тогда сладко, когда девка сама обнимет»? Сей эпизодик из «Петра Первого» почему-то запомнился ей едва ли не больше всех там битв и интриг. Да и то – почему. Эта девка-то оказалась потом в царицах... – Опять про Золушку! Скрепя сердце Светка как-то мирилась с этим безрадостным бытием, с постоянными попреками матери и отчима, с унижениями на службе, где даже за работу в

выходные дни никто доброго слова не скажет. Она понимала: останься одна, ей с сыном только на хлеб с молоком хватит. Какая уж там учеба...

Но с тех пор Светка старалась не испытывать судьбу и не оставалась с отчимом наедине. Ей казалось: он до сих пор считает, что она просто «ломается», а значит, можно и уговорить. Все-таки молодая вдова, должны же и у нее быть человеческие потребности...

К этому черному слову «вдова» Светка так и не привыкла. Как до этого не успела понять, что такое «жена». Сосед по подъезду взял ее в жены измором: приходил каждый вечер и сидел почти беззвучно. Кажется, в нем не было ничего, что могло приглянуться женщине, но какую-то струнку в сердце ее матери Сергей тронул. Та начала терзать дочь, пугать ее будущим «старой девы». Светка не то чтобы испугалась, но попыталась представить, какое же будущее ждет ее на самом деле... И не смогла.

Через несколько бесцветных месяцев Сергей замерз спяну в такой же канун Нового года, и Светка в который раз убедилась, что ожидаемое чудо само собой выворачивается наизнанку...

Он появился в ее жизни, когда Светка уже и не мечтала о том, что в этой безысходности что-нибудь изменится. Случайно заглянул к ним на работу. Нужны были какие-то данные из архива, куда ее устроила мать. Светка едва не онемела. Она думала, такие мужчины бывают только в «Унесенных ветром», в «Красотке» или наших «Семнадцати мгновениях...» Высокий, мужественный, голубоглазый, с благородной проседью на черных, как воронье крыло, волосах, с лицом античного героя и с победоносным именем — Виктор...

И затрепетало в груди, как в тринадцать лет от взгляда десятиклассника, взгляда, брошенного вскользь, может быть и не на нее обращенного... Светка не смогла сразу ему помочь. Потом не смогла восстановить, как формулировался запрос, и от досады грызла ночью подушку: нужно же было запомнить! Всё, каждую мелочь. Но обрушилось сразу так много и так неожиданно... Странно, что глядя на Виктора, ей еще как-то удалось собраться и записать номер телефона с тем, чтобы он позвонил на следующий день. К тому времени Светка нашла бы все, что ему требовалось. Но стоило ему выйти, как она заскулила про себя: «Зачем же завтра? К вечеру нашла бы...»

На следующий день она не побежала перекусить домой, как того требовала мать, не давая денег на столовую, а все глядела на телефон, с ужасом думая о том, что Виктор, наверное, обошелся без той информации, которую она так тщательно собирала. Зачем же тогда он станет звонить? Не ради нее же... Светка вздрагивала всякий раз, когда раздавался телефонный звонок.

— Сто лет я ему пужна! — заглушала она всхлипывающее внутри отчаяние. — Позвонит, не позвонит, — продолжало отстукивать сердечко.

Он позвонил. — Спросит, не спросит! — Он спросил... У нее перехватило дыхание: нужна! — Как она смотрит на то, чтобы завтра куда-нибудь сходить вдвоем? Интересно, он допускал мысль, что Светка может отказаться?

Дожить до завтра оказалось еще труднее, чем дожждаться звонка. У нее пылало лицо, когда она подходила к театру, где они договорились встретиться. От страха у Светки ослабли ноги: «Как к нему подойти? Такой красивый...» Она уже оста-

новилась, готовая броситься бежать от этой очередной, самой лучшей иллюзии, но тут Виктор, наконец, заметил ее и сам пошел навстречу. Три розы светились у него в руках мазками того рассвета, которого она еле дождалась. И который, как выяснилось позднее, он рисовал не меньше десятка раз. Что ему виделось в этом новом, каждый раз не похожем на другие, начале дня?

— Это мне? — по-детски спросила Светка, и он почему-то обрадовался этому.

А она действительно боялась поверить, ошибиться, ведь до этого ей никто не дарил цветов. Нет, кажется, были в день свадьбы, но они так мало значили для нее, что даже не запомнились.

Светка была в своем единственном «парадно-выходном» платье из дешевенького материала, но ладно сидящем, с кокетливым вырезом на груди. А Виктор пришел в свитере. Но ей казалось, что если бы он и рубище надел, то кроме его красивой и гордой головы, никто бы ничего не заметил.

Они попали на «Пигмалиона». Самого Пигмалиона, или как там его, играл актер, чем-то похожий на Виктора. Только, само собой, артисту этому до Виктора было, как до Луны. Конечно она знала, чем закончится действие. Но Светку захватил спектакль, и она печаянно ощутила себя на месте этой миленькой и неотесанной дурнушки, на глазах превратившейся в леди. Сколько же на свете историй про Золушек!..

Три розы до сих пор стояли в стеклянной вазочке. Давно высохшие, утратившие свежесть цвета, но не переставшие волновать. Светка душила это пенужное волнение, как будто напрокат взятым цинизмом: «Да что было-то? В театр сводил. Потом, как водится, на квартиру. Банальная история.

Миллион таких было. Вся разница, что не из ресторана».

И впрямь, если только то видеть, что было снаружи, ничего особенного не произошло. Ведь даже атмосферу его дома, полного воспоминаний Виктора, перенесенных на холст, посторонний скептик назвал бы приманкой для простушек. Если допустить, что Виктор – заурядный соблазнитель, то всё продумано было безукоризненно: билеты взяты не на что-нибудь, а на «Пигмалиона». И краешком сознания Светка допускала это, но не хотела верить. Хотя бы на вечер. Она даже не спросила, жепат ли он. Хотела, но не спросила. «Пусть будет, как будет», – Светка улыбалась ему и замирала перед каждой его работой. Она не знала, насколько они искусны, но это выше – его. В памяти всплывало случайно услышанное в религиозной телепередаче: «Возлюбивший Бога еще не вправе рассчитывать на взаимность...» И от того, что мысленно она соглашалась с этим, становилось труднее дышать. То и дело Света ловила его пристальный, чуть удивленный взгляд:

– Тебе нравится?

Мог бы и не спрашивать... Это было так не похоже на их хрущевку с аляповатыми обоями и допотопными коврами.

– Знаешь, что мне хотелось бы нарисовать? Тебя.

– Рисуй, – сразу же согласилась она.

– О, нет... Тебя мог бы нарисовать Рафаэль или Веласкес... А ты не будешь смеяться, если я поставлю Утесова? Это, конечно, не твоего поколения музыка...

– Разве это не на все времена?

– Тебе действительно нравится?

– Ты уже спрашивал... Мне все в тебе нравится, – Светка сама испугалась этих слов, но они уже прозвучали и влились в трогательный мотив старой песенки: «Дай мне ручку, каждый пальчик я тебе перецелую...»

– Витя, Витечка, я же знала, что ты есть...

А в его шепоте было недоверие:

– Откуда в тебе в двадцать лет столько нежности ?

Она отшутилась:

– Это врожденное.

Но Виктор не мог понять, что это шутка. Для этого ему нужно было узнать о ней так много: о ее сумеречном детстве, о холодном равнодушии замужества, о раздирающей душу вине перед сыном: «Зачем я только родила его?! Для нищеты? Для того, чтоб он в одних колготках ходил?»

Ничего этого Виктор не должен был узнать о ней. Не в первый же вечер... Но – узнал. Прорвалось. У нее жгло глаза, и дергался подбородок, но Светка не заплакала. Ей нужно было договорить. Перелить в единственную потянувшуюся к ней душу все, что было в ней, и ощутить незнакомую легкость. Разве обычные соблазнительницы слушают так, как он? Или только они так и слушают, иначе почему уже на следующий день в телефонной трубке раздалось:

– Девочка моя, не сердись, будь ласка! Мне придется уехать на какое-то время...

Ну да, конечно. Он же не картинками кормится. У него – служба. На какое время, Светка не спросила. Она сразу поняла, что навсегда. Не уехать, просто исчезнуть... Ей хотелось думать, что и в ней все успокоилось. На самом деле застыло. Оцепенело. Начинаясь зима.

А беды все доставали Светку. То один из начальников после застолья на работе вдруг предложил поехать к нему: жена в отъезде. Получив отказ, озлобился и стал отыгрываться на ней за малейший промах. А следом в институте – того не лучше. Замдекана доверительно посоветовал:

– Если хочешь учиться, неси еще четыре тыщи сверху. Сама должна понимать: я тут не один. Да еще, – старый перечник с улыбочкой добавил: – завтра я свободен. Часика в два приходи, будь умницей. Вот адресок.

Рассказать матери? Так опять же скажет: «Сама виновата. Наверное, глазки ему строила»... Несколько дней Светке пришлось уговаривать свою мать, чтобы та разрешила отдать часть зарплаты на новогодний подарок в яслях, который должны были получить все ребятишки. Мать неистовствовала:

– Сидишь у меня на шее со своим приданым! Пою тебя, кормлю, своего угла до сих пор не имеешь... Подарок ей понадобился! А за квартиру я чем платить должна? Совсем обнаглели, только тянут и тянут, – переключилась она уже на воспитателей.

Светка готова была уже, как в детстве, валяться у матери в погах, лишь бы Семка не пережил холодного ужаса отверженности, хорошо знакомого ей самой. Но неожиданно вступился отчим. Он сунул Светке деньги и буркнул, ни на кого не глядя:

– Па... Побалуй пацана, чего там...

Светка сидела над курсовым, а нехорошие мысли ее не отпускали. Видно почуяв, что маме плохо, пацанчик прижался к ней. Она взяла его на руки и подошла к окну. Внизу, ошалев от не-

ожиданной оттепели, сновали в праздничной суете люди. «У них, наверное, все хорошо» – подумала Светка. Подмигивали фарами расплодившиеся автомобили. Уже загорались новогодние гирлянды...

«Что же делать? – она машинально сжала пальчики сына, – почему Семка должен страдать из-за меня? Еще каких-то два года, и он начнет понимать, что одет хуже других. Что у нас почти никогда не бывает фруктов. Что у него не будет компьютера. И все из-за того, что его мамочка – никчемное существо! Что я из себя представляю? Ничто! Институт мне сроду не окончить, это ясно. Но я и заработать не могу! С чего пачинали те женщины, что торгуют тряпьем на рынке? Таскают гигантские сумки... Ничего, дотащила бы, как миленькая! Но ведь нужны какие-то деньги, чтобы купить товар. У меня ничего нет. Что же делать? А ведь можно сейчас одним движением все оборвать... И не надо будет думать, как сводить концы с концами. Только жалко вот этот теплый комочек, доверчиво прижавшийся к ней. Но, может быть, там и ему будет лучше? А Виктор... Что Виктор? Так, видно, ей суждено, чтобы напоследок, на миг ярко осветилась ее жизнь. Страшно... Но через минуту все будет кончено, и страх навсегда исчезнет...» Светка взялась за шпингалет. Крепко подогнанный на зиму, тот не подавался. Она открыла кладовку и, не зажигая света, пашарила на полке молоток... «Господи! Помилуй нас и дай мне силы сделать это». Она последний раз взглянула на дверь: хорошо, что мать с отчимом вернутся не скоро. Внезапно раздался звонок. «Открывать? Поди соседка – чем-нибудь одолжиться? А может, и надо в последний раз кому-то помочь, пусть и

безделицей?» Светка открыла. Между дверью и косяком была вставлена открытка. Без адреса и обращения. На ней написано печатными буквами: «Выходи в шесть». Буквы «в» западали вниз. Похоже, печатали на какой-то древней машинке.

— Наверное, путаница — подумала Светка. — Да и писал скорее всего играющий в Шерлок Холмса школьник. Наверное, однокласснику разыграть хотел.

Но время впечаталось в Светкино сознание, и они вышли с Семкой без пяти шесть. Она была уверена, что бежит от страшного окна. А если снова — за чудом? Просто идиотизм какой-то...

— А мы и не ждем никаких чудес, правда? — услышав в своем голосе лихорадочную веселость, Светка не поняла: пугаться ей или радоваться? И на всякий случай поскорее вытащила сына из квартиры, где всегда ощущалось нечто гнетущее, болезненное. Где и Новый год не был праздником. Ведь некуда было поставить елку и положить подарки...

— Ой! — раздался голос ее сына. — Хочу!

Она с трудом вытащила из замочной скважины вечно застревающий ключ и, повернув, тоненько вскрикнула. От лестничных перил к чердачной лестнице тянулась нитка, к которой были привязаны за макушки серебристых фантиков шоколадные конфеты. А в середине висело красное яблоко, ухваченное за черенок.

Много лет назад Светка видела такое на дне рождения у одноклассницы. Детям по очереди завязывали глаза и давали большие ножницы. Светка срезала большой желтый банан, который до этого дня только на картинках и видела. Сорвав шарф, мешавший его рассмотреть, она ощутила себя единственной владелицей Синей Птицы... Но тычок

кулаком в ребра тут же вернул ее к действительности. Именинница орала так, что Светку едва не отбросило звуковой волной:

— Она подгля-а-адывала! Это мо-ой!

С тех пор Светка пробовала бананы не часто и старалась внушить себе, что они абсолютно безвкусны. Но тот, вытребованный у нее плод, до сих пор не давал ей покоя, не уходил из памяти, будто в его сладости заключалось все, что она могла получить от жизни, но не получила...

— Это не наше! — вскрикнула она почти с ужасом и отдернула сына, уже потянувшегося к покачивающимся серебринкам.

«А чье же?» — это мелькнуло в мыслях, когда они выскочили на улицу, и березы у дома колыхнулись похожим серебром. На площадке было три квартиры, и никто из соседей не был похож на человека, способного сотворить чудо.

«Надо было оборвать эти чертовы конфеты! — мрачно решила она. — Раз уж сама не могу купить... У ребенка должен быть праздник!»

Остановившись, Семка протянул:

— Цыточки!

Она обернулась. Вокруг таинственно поблескивали витрины, зазывая блеском елочных шаров, на которые Светка старалась даже не смотреть. Навстречу попадались женщины с полными сумками: все готовились к празднику. На работе обсуждали, что можно готовить в этот Новый год и что надевать. Светка в этих разговорах не участвовала. Ей и слушать их не хотелось, но могли подумать, что она завидует и злится. Она и этого не чувствовала. Ничего.

Не давая увести себя, сын упрямо повторил:

— Цыточки. Там были.

— Розы, да? — горько усмехнулась Света. — Розы цвета утренней зари... Таких больше нет, малыш.

Что остается, если больше не будет роз? Она потянула сына и пошла по принарядившейся улице, перебирая то скудное, что составляло ее жизнь. Упылая работа, за которую почти ничего не платят... Липкие взгляды начальника, не раз намекавшего, что умная девушка уже получила бы повышение... Положение приживалки в семье, которую семьей-то назвать нельзя...

«Детсадовский подарок будет считаться от Деда Мороза, — думала Светка, уводя сына от дома. — А я? Я так ничего и не подарю ему? Господи, если б мать оставляла мне хоть какие-нибудь копейки, я накопила бы! А что я могу? Если я только рот открою, она выгонит нас с Семкой на улицу. Не могу уже... Сколько можно? Никогда это не кончится. А недавно ведь почудилось: кончилось!»

Морозный пар то и дело наполнялся запахом елок, и от него невольно замирало сердце. Ей слышался еще не раздавшийся звон бокалов, женский смех и шуршание разворачиваемых оберток...

«Будь он проклят этот Новый год! — Светке хотелось взвыть и броситься бежать. — Зачем я только вышла из дома? Отчима испугалась? Да подумай! Пусть бы... Может, тайком денег бы подсовывал иногда... Господи, о чем я думаю?! А о чем мне думать? О том, что мой мальчик должен хотя бы знать, что такое радость... Завтра я зайду к этому хряку в кабинет... Пенадолго. Это будет равносильно самоубийству. Ну и что? Зато мой сын будет жить!»

Семка опять дернул ее за руку:

– Вон цыточки! Смотри!

– Да где же? – она шарила взглядом и, захлебываясь, шептала слова, которых ребенок не мог понять. – Не бывает никаких цветов среди зимы! И конфет на ниточках не бывает! Никаких чудес. Одна грязь кругом! Думаешь, этот снег белый?

Светка запнулась, увидев выгоптанную на снегу стрелу. За ней еще одну и еще... В детстве так играли в «казаков-разбойников». Светка двинулась, куда они указывали, не задумываясь, зачем это делает. Почему опять готова попасться на ту же приманку... В памяти мелькнуло где-то услышанное: «Несбывшееся зовет нас...»

– Дядя, – испуганно сказал Семка и замер.

Она подняла голову и слезы мигом занавесили ее глаза причудливыми линзами, сквозь которые, точно на картине импрессиониста, она поначалу не видела ничего, кроме розовых мазков восхода. Восхода, который уже не ждала...

2002 г.



Ночью я позвонил Александрю Блоку...

Эссе и эссеюшки





НОЧЬЮ Я ПОЗВОНИЛ АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ...

Это случилось несколько лет назад... Ночью я позвонил Александру Блоку. Он взял трубку. Я назвался... И он сразу вспомнил меня! Оказывается, он читал мое стихотворение 70-х годов, навеянное его строками. В них я восторженно увидел не что иное, как мировое научное открытие, высказанное... раньше знаменитого ученого-открывателя!.. «Любопытное стихотворение, – сказал Поэт. – Только, сделайте милость, больше его не печатайте в том виде: оно слишком несовершенно... Так чем могу служить?»

Я совсем разволновался и начал сбивчиво излагать Александру Александровичу свою просьбу: Наши поэты вышли на площадь... Они протестовали... Их арестовали... В общем, попросил вступить. И Блок обещал помочь!

Наутро я напрочь забыл, против чего выступали поэты в моем сне. Но когда пересказывал всё это Валентину Махалову, моему крестному отцу в поэзии, волосы мои продолжали шевелиться, а кожа – кирзоветь. Мудрый Васильич воспринял сие вполне серьезно: «Коль скоро ты разговаривал с Блоком во сне, значит у тебя большие вопросы к жизни, к поэзии. Ты всё еще разбираешься в себе. *(Боюсь, что до конца в себе разобраться – в этой жизни мне не грозит. – В. Л.)* Но, может быть, Всевышний распорядился, и это означает, что на шестом десятке ты из не худо пишущего стихи человека – таких ведь людей не-

мало — всё же стал поэтом. У каждого свой срок... Ты же помнишь, в твои тридцать я только малый аванс тебе выдал...»

В любом случае я не случайно обратился за поддержкой именно к Блоку. Человеку, который умел сострадать, как никто другой. Ведь это он с горечью заметил сто лет назад: «...а в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели»... Непостижимо свежо эта строка звучит и сегодня, не правда ли? Но о том — не здесь... Блок писал другу, что «невыносимо слышать, как рушится старый мир». К слову, я давно убежден, что его «Двенадцать» никакое не признание революции, а великий памфлет на неё. Он и ушел, когда понял, что нэоинквизиция в России — это надолго, и просто прекратил дышать. Случилось это — совпадение ли? — в том же августе 21-го года, когда был расстрелян другой Поэт — Николай Гумилев. Но главное, Блок для меня — один из тех посланцев Бога на Земле, кому и в самом деле «чье-то солнце вручено». Впрочем, объясняться тут в любви к нему — не ново. Тем более, что выше и талантливее других это сделала Марина Цветаева: «...Вседержитель моей души!»... Его «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре...» потрясают меня тем, прежде всего, как невероятно много «глухих тайн» доверил ему Господь... Да мало ли у него потрясающих стихов! Восторгаться ими — тоже не новей... И потому да простится мне недолгий отход от большого серьёза...

Неудержимо хочется поведать смешную историю о том, как Александр Блок однажды недурно... напоил и накормил меня. Это случилось в Алма-Ате летом 85-го... Мне тогда выпало по служ-

бе поблаженствовать там — на курсах Госстроя Союза — целый месяц. Жил в общеаге полувпрого-лодь — командировочные сюда были не положены. Зато после занятий ходил в горы, катался на коньках не где-нибудь, а на знаменитом высокогорном Медео под июньским солнышком, где лед — что за рецепт! — вообще не таял. Для полноты картины забегу вперед: когда вернулся домой, по Первому каналу как раз показывали веселый сюжетик о союзном соловейчике тех лет — кажется, под названием «Роза Рымбаева на Медео». И надо было видеть в сей момент лица моих близких: откуда ни возмись в экран вкатился на коньках и в плавках их отец семейства «с глазами кролика», который бежал за певицей и ее эскортом. Вот уж поистине... Но это только к слову о положительных эмоциях во время учебы. Большую часть слушателей, надо заметить, составляли там представители среднеазиатских республик — географическая близость, — и о них у меня остались самые добрые воспоминания. Как-то в выходной мы сидели в дешевой чайхане, ужинали. А в аккурат в это время партия запретила народу пить. И тут всё было чин-чипарем: на столах — никаких бутылок и графинов. Горячительную влагу разносили исключительно в чайничках. Повеселели. В нашей компании, конечно, не обошлось без лучшей половины. И я что-то скаламбурил, используя строчку Блока, показавшуюся мне с восточным колоритом: «...я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Один дотошный коллега-узбек попытался меня поправить: правильно, мол, не «как небо», а «как солнце». Само собой, говорю, «как солнце» здесь вполне напрашивается. Но ведь Блок — не

Хайям или Низами: небо по-другому видит. По-спорили. Мне замаячило нечто и, конечно, не смущала восточная же мудрость: один из спорящих – дурак, а другой – подлец... А спор всем загорелось разрешить немедленно. Опущу детали, как мы, не слишком трезвые граждане, ходили по домам столицы Казахстана и убеждали хозяев – вот картинка-то, – что непрошеным визитерам непременно нужно дать порыться в полном собрании сочинений Блока... И представьте, один старичок проникся и вынес-таки нам искомое! В результате... мне до конца курсов был обеспечен дармовой плов с «сопровождением», тот фантастический плов, какой умеют готовить только узбеки. Вот вам и «прикладное» значение поэзии...

Кстати, еще раньше меня занимало: что за диковинный напиток «аи» послал поэт героине стиха? Начал искать. В советских словарях ничего не откопал. Углубился в дореволюционные... и «сэ ле мо» – вот оно слово – нашел. Оказывается, это сорт шампанского из винограда деревушки Аи (Ауе – по-французски) – провинции, конечно же, Шампань. Похоже, что Блок со друзья пили это шампанское ящиками... Когда в 80-м году я впервые оказался в Париже, то пытался отыскать заветную бутылочку. Без колебаний выложил бы за нее свои скудные франки. Но эти «темные» французы только плечами пожимали. Может быть, я не с теми общался или они Блока не читали?..

Но вот теперь снова дышите глубже. Пора уже перейти к главной, наверное, части своего сумасшедшего захлёба длиной в полжизни: к тому невозможному откровению Поэта, что не перестает меня волновать, никак не отпускает многие годы.

Уже сказал в начале, что когда-то меня пронзила догадка, что Блок зашифровал в своем стихотворении великое научное открытие. Возможно, мне это неизвестно, у моей догадки были и есть соавторы и сочувствующие. Может быть, кто-то улыбнется и покачает головой... Мистическое ли это предвидение, но, судите сами, вот эти строки из стихотворения «Моей матери», написанного – дата здесь очень важна – 4-го декабря 1904 года:

*«...Мы провидели светлые цели
В отдаленных краях лабиринта.
Нам казалось: мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни.
Воротились и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.
И никто не спросил о планете,
Где мы близились к юности вечной.
Пусть погибнут безумные дети
За стезей ослепительно млечной!..»*

Опускаю другие, не столь убедительные строки, но какие тоже можно истолковать в пользу моей версии. Так что же это, друзья мои, как не гениальное изложение теории относительности?.. Той самой теории, самые начала которой Эйнштейн вынес впервые на публику в 1906 году! А почему, если можно «алгеброй гармонию поверить», то нельзя – наоборот? Но ученый-то каков! Неужели ему кто-то доставил из России малоизвестный журнал «Вопросы жизни» № 6 за 1905 г., где впервые были напечатаны эти стихи? И ему оставалось только найти формулы к постулатам, какие предвосхитил поэт? Не знаю, насколько Эйнштейн был знаком с русским языком... Физик, правда, нашей

лирики не был лишен: в Штатах он весьма приятно сотрудничал с женой скульптора Коненкова. Но ведь это случилось много лет спустя... Насчет плагиата, это меня занесло, конечно. Но насколько близки даты! Нечто такое уже носилось в воздухе. И пересеклось! И состоялось!

Сдается мне, что и неисправимый материалист теперь ощутит, что поэзия, это не только тайна велика, но и сила крылатая – невиданная и непознанная! А разве мы не вправе гордиться, что взлет в это занебесье совершил не кто-нибудь, а русский поэт. Прорыв, рядом с коим и поставить нечего...

Просто не могу закончить здесь ничем иным, как заключительными строчками из своего давнего стиха:

*Поэты на Земле – пророки,
Вселенский – Александр Блок!*

Июль 2005 г.



«...НО СТРОК ПЕЧАЛЬНЫХ НЕ СМЫВАЮ»

Сознаю, насколько рискованно провинциалу из «глубины сибирских руд» братья за простран-ные откровения о Пушкине. Творчеству, жизни, закату «солнца русской поэзии» и «невольника чести» отдали дань и большие поэты, и видные исследователи, не чета моей скромной персоне. Но вот беда, когда слышу весьма точные слова о нем – университет, энциклопедия, совершенство – что-то протестует во мне, не находя в них ничего, кроме сияния мрамора и блеска благородного металла. Мне же неўдержимо хочется поделиться видением своего, совсем не бронзового Пушкина, а бесподобно живой натуры, личности невиданной силы, загадочной и противоречивой. А свидетельства, которые я находил в доступных мне источ-никах последнюю четверть века, надеюсь, послу-жат именно этой цели. Более всего потрясли меня когда-то два тома писем поэта. Сколько же там бродит и дремлет: сюжетов и открытий, любви и боли. Приведу немало его цитат, без коих просто невозможно здесь обойтись, ибо каждая из них – живой и страдающий Пушкин. Буду счастлив, если мои не слишком организованные, мозаичные записи окажутся интересными читателю. И если таковой в чем-то не согласится со мной, сочту это естественным. Ведь у каждого из нас – свой Поэт.

Сначала несколько собственных ощущений и наблюдений. Не знаю, может быть, это издержки

моего позднего и случайного литературного образования, но так вышло: есть поэты, отдельные строки которых могут тронуть меня порой сильнее пушкинских. Но правда и то, что при этом испытываю странную и смешную неловкость перед духом Александра Сергеевича. Это сродни тому, что ощущаешь перед живым близким человеком, когда ненароком его обидишь... «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» Поэт ошибся, преуменьшив, самое малое, на пять шестых свою будущую славу. Знаю это не понаслышке. В дальнем зарубежье мне приходилось общаться с технарями, казалось бы, бесконечно далекими от поэзии. И вправду, когда разговор вдруг коснулся литературы, эти американцы не смогли назвать навскидку имен своих национальных поэтов. Но имя Пушкина они знали все!.. Наверное, в каждом русском сидит какое-то мистическое ощущение всепроникновения Пушкина, о чем говорит и сей маленький этюд с натуры. Моя дочь-отроковица наивно-восторженно спрашивает меня: Неужели правда, что Пушкина знают во всем мире? Подтверждаю: Правда. Она не унимается: Даже в пустыне Сахаре? — Да. И в Южной Америке тоже. Даже в племени нюмбо-юмбо о нем что-то слышали... И вдруг ловлю себя на том, что безотчетно размышляю над этой «задачей»: могли или нет аборигены означенного племени от кого-то услышать о Пушкине?.. А иногда всерьез думаю, что у Александра Сергеевича написано все и обо всем, а вся остальная литература — лишняя. Глупость, конечно, напоминающая убеждение Омара, сжегшего Александрийскую библиотеку: «Если в этих книгах писано то же, что в Коране — они лишние, если иное —

они вредны...» Но с тем, что Пушкина на нашей российской земле можно услышать везде и во всем, вряд ли кто будет спорить...

Не с чем даже сравнить целый материк Пушкинианы в музыке! Нет, не собираюсь в него углубляться. Для этого потребовалась бы целая монография. Скажу о другом. Когда слышу сколько-нибудь удачные строчки в нынешних популярных песнях, то часто нахожу в них что-то от Пушкина: реминисценции, созвучия, аналогии... Вот случайный подбор. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». А в песне: Дай счастья мне, а значит дай покоя... А возьмите недавний лирический хит «Как упоительны в России вечера». Сразу почувствовал: секрет успеха этой песни – в околопушкинских ритмике, интонациях, смысле, наконец. И я не успокоился, пока не нашел у Александра Сергеевича искомые строфы. Разумеется, речь не идет о плагиате. Автор слов песни достаточно мастит... А вот, без нот и ритмов, почти физиологическая ассоциация. Когда вижу, например, на чьей-то могучей шее выдающуюся цепочку, невольно приходит: «Златая цепь на дубе том...» Но довольно. У многих в запасе есть продолжение подобных рядов.

Поспешу обратиться к собственно личности поэта, вселенская величина коей, очевидно, и сделала его недостижимым творцом «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Пророка»,... чтоб «обходя моря и земли глаголом жечь сердца людей». Но начну с того, что Пушкин был несомненно великим диссидентом России. Это прослеживается в его стихах, письмах, высказываниях. А ведь «слова поэта суть его дела». Опускаю

общеизвестные факты, которые сделали его ссыльным, невыездным, поставили под жесточайший надзор и цензуру произведений и личной переписки. «...Вероятно и твои письма распечатывают, этого требует государственная безопасность» – издается он над цензорами в письме жене. Теперь часто повторяют его восклицание: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» Но ведь это цветочки! «Любовь к отеческим гробам» и «родному пепелищу» не помешала великому патриоту России обронить слова, которые вплоть до последних времен – никто не рисковал цитировать: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до пог, – но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». А вот почти прокламация: «Меня тошнит с досады: на что не взгляну, все такая гадость, такая подлость – долго ли этому быть?» Не правда ли свежо звучит? Цитировать одухотворенные воззвания из «Вольности», что вывели декабристов на Сенатскую площадь, излишне... Но вот он же пишет и такие слова: «Клянусь честью, ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю». Скорее всего последнее признание не спасло бы его, родился он на полвека раньше. Екатерина, та бы его четвертовала, как Пугачева, или сгнобила, как Радищева, чудом избежавшего казни. Ох как не случаен интерес Пушкина к этим фигурам! А из своих царей – Александра и Николая – он, кажется, воспитал законченных либералов, коль скоро они даже не отлучили его от печатного станка. Позволял-то он себе оё-ёй чего: места не хватит цитировать. Что же до нашего приснопамятного недалека, то, попади он туда, «десять лет без права переписки»

ему было бы обеспечено... Вспомним хотя бы более чем загадочные смерти Маяковского и Есенина. А «кюхля» Мандельштам был замучен только за «Мы живем, под собою не чуя страны...» Стоит ли дальше перечислять?..

Впрочем.. Когда воспринимаешь историческую личность с высот тех или иных позднейших воззрений, всегда есть шанс впасть в абсурд. В этой связи любопытна цитата Сталина из школьного учебника 50-х годов: «Петр был дворянский царь: с крестьян он драл три шкуры». Да уж. Ни тебе мировую революцию не провозгласил, ни — на худой конец — свободу, равенство и братство народу не пожаловал... Но с Пушкиным чудеса такие: Его можно перемещать во времени и пространстве, проецировать на любую эпоху, и везде он будет точен, свеж, неповторим. Насколько его интеллект опережал свое время, увидел Гоголь, догадку которого только теперь вполне понимаю: «Пушкин это русский человек в своем развитии, который явится нам через двести лет...»

Но обращусь ненадолго к переписке поэта с вершителями судеб. «Неправедная власть в сгущенной мгле предрассуждений» во все времена — в той или иной мере — аморальна и преступна. Так может ли истинный поэт-гражданин быть с нею «на брудершафт»? Но Пушкин хотел печататься в своей отчизне, а потому писал и такие письма (Бенкендорфу): «Позвольте принести Вашему Превосходительству чувствительную мою благодарность... Снисходительное одобрение государя императора есть лестнейшая для меня награда...» Далее — еще несколько глубоких реверансов... Но уже в следующем письме он пишет тому

же адресату: «Что касается цензуры, то если императору угодно уничтожить милость мне оказанную (*быть единственным цензором поэта – В. Л.*), прошу Ваше превосходительство разрешить мне как надлежит мне поступать впредь с моими сочинениями, которые, как известно, составляют одно мое имущество...» (*курсив мой – В. Л.*) Убежден: немыслимая по тем временам дерзость! Кажется, его состояние в тот момент можно передать строкой из Есенина: «Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, к переносице...» Простите за секундную и невольную измену Пушкину... И еще одно предположение относительно последних слов письма. Подозреваю, Александр Сергеевич всерьез размышлял о необходимости закона об интеллектуальной собственности, на который наша российская дума сподобилась через 160 лет. На это косвенно указывают и другие свидетельства, которые еще впереди.

Потрясают неувядающие замечания-откровения Пушкина о собственном творчестве, о взаимоотношениях с музой, о деньгах, связанных с литературным трудом и не только с ним. Отрывки без комментариев: «Писать свои *memoires* заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Но трудно. Не лгать – можно. Быть искренним – невозможность физическая... Мне не до Онегина. Черт возьми «Онегина»! Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите... Иноземные писатели пишут для денег, а наши (кроме меня) из тщеславия... Пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег... Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, уже смот-

рю на них, как на товар по столько-то за штуку... Деньги я мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости... Мне нужны деньги или удавиться!..» Замечу, что последнее восклицание относится к 1825 году, то есть отсутствие достойных средств для полноценной жизни было большой темой в письмах поэта задолго до его женитьбы. В одной записке он даже просит П. Вяземского повлиять на родного дядю, который занял у него, еще юноши, сто рублей, что с процентами через 12 лет выросло до двухсот... Как бы то ни было, но Пушкин женился по большой любви на обворожительнейшей... бесприданнице. Во всяком случае ни копейки из обещанного семейство Пушкина не получило. Более того, незадолго до свадьбы он занимает Гончаровым 11 тысяч рублей, которые впоследствии крайне деликатно, но безуспешно стремится вернуть. Также тщетно он пытается продать бронзовую статую Екатерины, которую милостиво уступает ему дед Натали... Надо ли подчеркивать, что для дворянских браков все это, мягко говоря, нетипично. Забегаю вперед: в судьбе одной из его самых ярких муз и нашей с вами знакомой Анны Керн, урожденной Полторацкой, кое-что сложилось с точностью до наоборот. Ее в 16 лет выдали за 52-летнего дивизионного генерала Ермолая Керна, не знавшего ничего, кроме фрунта и смотров. А в 26 — она оставляет ненавистного супруга. Всю жизнь бедствует и умирает в нищете, похоронив второго — любимого мужа. Даже если допустить, что понятие нищеты во дворянстве и настоящее — разнятся, тот факт, что Анна Петровна в конце жизни продает свою святыню, письма Пушкина, — по пяти рублей за штуку

— говорит сам за себя... Но вернемся к Пушкину, который не был бы таковым, когда б не выбрал свою мадонну, Наталью Николаевну: «Я влюблен, я очарован, я огончарован!.. Женка моя прелесть не по одной наружности... Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутывать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас...» А вот предположение поэта уж вовсе горестное: «Если я умру, жена моя окажется на улице, а дети — в нищете». Так бы могло и случиться, если бы государь не взял на казну все помертные долги поэта... Невольно приходится возвращаться к прежней своей посылке. Но уделяю здесь столько места далеким от поэзии мыслям творца только для того, чтобы подчеркнуть: Пушкин, как никто другой, сочетал в себе легкокрылого небожителя («Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать») и неисправимого материалиста («Дай сделаться мне богатым, а там и покутим в свою голову»).

Можно ли, говоря о Пушкине, не коснуться вечной темы — «Пушкин и его музы»? Тем более, что уже не минул ее. Нет, я не намерен следовать за адресатами его лирики. Страстность, бешеный темперамент поэта тоже достаточно известны. Впрочем, его взаимоотношения с женщинами суть исторические. Только несколько штрихов. Согласитесь, надо было знать толк в любви, чтобы написать «Гаврилиаду». Встречается мнение, что русский язык бедноват, как бы это сказать... — «пе-

чатной» эротической лексикой. Как бы не так! Справьтесь у Пушкина... Без сомнения, Дон Гуана он не только с первоисточников списывал, но и в себя частенько заглядывал: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия». А как вам эта проверка алгеброй романтических увлечений: «Натали – моя 113-я любовь...» Цену своему обаянию Пушкин, конечно, знал: «Я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». Это при том, что к своей внешности он относился объективно скептически и часто с иронией: «Потомок негров безобразный...» О любви он говорил не только в стихах: «Первая любовь – дело чувствительности: чем она глупее, тем больше чудесных воспоминаний. Вторая – чувственности...» О некоторых качествах прекрасной половины человечества он мог сказать и снисходительно: «У женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости...» А в письме к «гению чистой красоты» наставнически советует: «Мужа следует уважать, иначе никому не захочется состоять в мужьях». Случайно ли Пушкин обессмертил ее имя? Судите сами. Вот далеко не полный перечень знаменитостей, что припадали к ее ручке: Дельвиг, Вяземский, Жуковский, И. Крылов, М. Глинка, А. Мицкевич, а в ее старости – Ф. Тютчев, И. Тургенев... Последний отметит: «В молодости, должно быть, она была необычайно хороша собой». Анна Петровна не сомневалась, что эти строки в 8-й главе «Онегина» списаны с нее и мужа: «Мужчины кланялися ниже, ловили взор ее очей... И нос, и плечи подымал вопедший с нею генерал...» (У современников были и другие версии о прототипах...) Стала легендой история о

том, что гроб ее повстречался с памятником Пушкину, ввозимым в Москву. Она же оставит такое воспоминание о Пушкине: «...то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен... ничто не могло сравниться с блеском его речи... он имел голос певучий, мелодический и шуму вод подобный...»

И последний фрагмент, может быть, выпадающий из романтического контекста. Пушкин – П.Вяземскому: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Приюти ее в Москве и дай ей денег сколько ей понадобится, потом отправь в Болдино... Прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если будет мальчик... Нельзя ли его отдать покамест в какую-нибудь деревню... Милый мой, мне совестно, ей-богу». Упаси бог что-то здесь комментировать. Просто это тоже Пушкин – живой человек. Привожу этот отрывок и для того, чтобы яснее стала его отповедь злопыхателям: «Толпа... в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего... Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы: он и мал и мерзок, – не так, как вы – иначе».

Лучшие умы его времени, конечно, понимали, с кем им выпало счастье общаться. Не сомневались в его гениальности Крылов и Жуковский. Видимо, подозревали это и сильные мира. «Сказано в писании: истина сильнее царя» – бросает Пушкин в лицо монарху. Просвещенный государь замечает, что таких слов нет в библии. «Нет, значит должны быть!» – заключает поэт, точно пророк-евангелист. Он и сам не мог не ощущать свое предназначение: «Я чувствую, что мои духовные силы достигли

полного развития. Я могу творить»... О фантастическом фейерверке остроумия Пушкина также ходили легенды. Но... «не хочу быть шутом, ниже, чем у господ бога».

Об эпиграммах не говорю, каждая – маленькое полотно. Но и любые записанные им безделицы не потеряли своего блеска: «Нет ни в чем вам благодати, с счастьем у вас разлад: и прекрасны вы некстати, и умны вы невпопад... То смертельно пьяны, то мертвецки влюблены... Пастила нехороша без тебя, моя душа...» Это первый случайный ряд, что пришел в голову. Да у кого же нет под рукой пригоршней таких же пушкинских жемчужинок?..

А каковы глубь и красота печали Пушкина? Мне видится здесь уместным сравнение с японской поэзией. Боюсь, что их знаменитому «мононэ-аварэ» – печальному очарованию вещей – до глубины завораживающей грусти нашего пиита, как от вершины Фудзиямы до дна Марианской впадины. Какие тут цитаты... Хотите верьте, хотите проверьте...

Юпитеру дозволено все, даже заимствование у других поэтов. «Осел был самых честных правил» – это, между прочим, И. Крылов. Как органично увековечил эту строку Пушкин, знают даже те, кто его никогда не открывал, если такое, конечно, возможно... Надеюсь, это никому не покажется кощунственным, по явление Пушкина землянам можно сравнить только с пришествием Христа. Думаю, святая церковь, несмотря на некоторые еретические высказывания поэта (кто же без греха?) дойдет до необходимости его канонизировать. Разве он не был и великомучеником? И

может ли земной человек развиваться столь стремительно? Мне кажется, Пушкин прожил огромную, беспримерно насыщенную жизнь и не мог прожить больше. Ведь в 22 года он уже написал: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты...», ставшее, к слову, редкой красоты романсом... «А ты, мой кормилец, состарился да и подурнел» – говорит ему при встрече знакомая крестьянка. И 36-летний поэт отвечает: «Хорош я никогда не был, а молод – был...»

Увы, возможности сей публикации обязывают меня завершить эти заметки, как бы мне ни хотелось обратного. Что же напоследок? Ну, разумеется, надо спросить у Льва Толстого, который, кажется, тоже сказал все и обо всем. Тем более, общепринято считать алтарь Л. Толстого сопоставимым с Пушкинским. Так вот, Лев Николаевич, со свойственной ему категоричностью, заявил однажды, что недолюбливает поэзию и поэтов, исключая, конечно, А. Фета, друга семьи и – кто спорил бы – лирика Божьей милостью. Но все же великий старец отметил пару неФетовских стихов – из Тютчева и Пушкина. Вот из Александра Сергеевича: «...И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Толстой добавил даже, что сам бы подписался под этими строчками, но надобно заменить одно слово – «печальных» на «постыдных»...

Но мыслимое ли дело, друзья, заменить у Пушкина хоть единую букву?

1999 г.



ВСЕ ЭР и ЭЛЬ СВЯТОГО ЯЗЫКА...

Иногда думаю, почему старания вполне добросовестных и знающих педагогов – привить отрокам и отроковицам любовь к русскому языку... эти старания нередко остаются втуне? Ну, не из-за глухоты же наших детей? Мне, разумеется, не под силу состязаться в знаниях с академиками – составителями учебников. Но уж слишком взволновали меня эти, может быть, случайные наблюдения, чем и спешу поделиться с читателем.

Помнится, нам всегда приводили на уроках знаменитые высказывания больших писателей и ученых о русском языке. Наиболее известны мысли об этом Тургенева: «Ах, как велик, как могуч правдивый и свободный русский язык!..» И Ломоносова: «...На испанском языке пристало бы – с Всевышним, на итальянском – с дамами, на немецком – с неприятелем... а на русском одинаково достойно – и с Богом, и с женским полом, и с врагом...» Достают из памяти, потому ручаюсь только за смысл. Не вижу надобности эти, спору нет, исторические фразы искать и приводить здесь полностью. Они, вероятно, и призваны как раз объяснить «юноше, обдумывающему житье», чем хорош русский язык, почему его надо любить или почему он несомненно достоин этого. Глупо сомневаться в искренности упомянутых великих. Всё так. Но не знаю, как вам, читатель, а мне эти замечательные цитаты давали полезную пищу только для разума. Но никак не для сердца. Потому что, убежден, прямое попадание в сердце под силу только поэту, только настоящим стихам...

Недавно впервые увидел книгу Арсения Тарковского, имя которого раньше, к стыду своему, знал только понаслышке. И то благодаря фильму «Сталкер» Андрея Тарковского, куда он ввел стихи отца. Очень непростой путь сына известен сегодня гораздо более отцовского... Но судьба этого, поныне здравствующего, российского поэта тоже ох, как нелегка! Достаточно сказать, что выхода первого сборника своих стихов Арсений Александрович дождался только в «оттепель» — в... 55 лет. О нем можно рассказать много интересного, и хотелось бы привести немало его неповторимых строчек. Но лучше обращу читателя к его произведениям. А сегодня — лишь об одном стихотворении «Словарь». Оно не может не потрясти неизмеримым и неизбывным единением поэта с родным языком. И поэтому ему нет нужды говорить о том, как он любит Россию и русскую речь, или — насколько она прекрасна:

*«Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть её, и до листвы моей
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней».*

Тарковский просто заражает своими ощущениями, и кажется, что они у тебя самого давно таковыми и были. И ты прямо физически... тоже находишь себя малым листком вечнозеленого древа России. Но дальше он поднимает нас в такую высь родного языка и проводит в такие его глубины, куда, мнится, никто еще не поднимался и не проникал:

*«Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока*

*Течет по жилам — боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эР и эЛЬ святого языка».*

По-моему, только человека, лишённого всех пяти чувств, могут вовсе не тронуть эти строки. Хочется катать и перекатывать их по небу... А теперь, найдется ли кто-нибудь, у кого не загорятся глаза от прикосновения к тайне происхождения слов? — Наяву возникает древнейший живой этимологический словарь:

*«Я призван к жизни болью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена.
Его словарь открыт во всю страницу,
От облаков до глубины земной...»*

Убеден, так дивно о русской речи — именно, о ней — еще никто не писал, таких открытий еще никто не делал. Впрочем, в том, наверное, и состоит предназначение поэта — говорить так, как никто до него... И если мы видим его открытие, поражаемся и верим ему, и оно становится нашим, значит, перед нами — Поэт... Ума не приложу, почему этого стихотворения, написанного в 1963 году, до сих пор нет в школьных хрестоматиях... Ну, а мне остается порадоваться, что открыл поэта, который займет в душе место рядом с Пушкиным, Тютчевым, Есениным... Нужно ли продолжать? Страна наша поэтами богата!

1986 г.



ИВАН МИХАЛЫЧА СКЛОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!

(кое-что занятное о склонении фамилий)

Помнится, в детстве слышал такую байку. Прибыл-де в Москву с визитом один видный азиатский деятель по имени Го Можо. Как было принято, пионерам поручили вручить ему цветы и хором поприветствовать. Но высокий гость сошел с трапа самолета не один, а с супругой. И дети не растерялись: «Здрассте дядя Го Можо и Гоможопина тетя!». Скорее всего это анекдот, заостряющий казусы, какие иногда преподносит склонение фамилий – как славянских, так и разных прочих...

По моим многолетним наблюдениям, тема сия любопытна не только лингвистам, но неизбежно касается многих людей – в быту, обращениях, заявлениях. Порой возникают здесь комичные споры, заключаются пари. Но тому, кто ткнув пальцем в учебник сына... выиграл у товарища «бутылку», не стоит торжествовать. Ибо, как мы сейчас убедимся, далеко не всё однозначно в этом вопросе даже в «Справочнике по правописанию и литературной правке». А его противоречия позволят и мне высказать мнение, основанное на опыте и, надеюсь, некотором чувстве языка.

Вот чистая быль из собственной давней службы. Принес однажды директору предприятия на подпись письмо, адресованное нашему куратору, известному в области чиновнику. Чуть изменю его фамилию на очень схожую – письмо Седоусу. Шеф

поморщился: «Исправь-ка на «Седоус». Моя попытка объяснить, что фамилии такого типа склоняются была решительно пресечена: «Будь ты хоть трижды грамотей, но нашего Иван Михалыча склонять нельзя!». Можно, конечно, улыбнуться такой аргументации. Ну, в самом деле, кто ж не знает, что в мужском роде склоняются почти все фамилии! А тут вроде совсем простой случай. Но спустя годы покорный слуга читателя с удивлением обнаружил, что был не так уж прав, как казалось.

В правилах, как будто, всё ясно. То есть, – и Седоусу, и Шмидту, и Боровику... и Бигусу, если угодно... Вы, к примеру, можете сфотографироваться со знаменитым баскетболистом Арвидасом Сабонисом, если, конечно, дотянитесь до его 224см. А если повезет – с нынешней звездой российского хоккея – чехом Яромиром Ягром или когдатошней – шведского – Тумбой-Юханссоном... А может статься, и не сможете – ни при каком везении!? Если будете неукоснительно слушаться автора упомянутого справочника. Ибо он, г-н Розенталь, постоянно не рекомендует склонять фамилии курьезного звучания и приводит примеры: Жук, Гусь, Ремень... Однако спрошу вас, а судьи кто? Кто всякий раз определит степень курьезности или серьезности в море оттенков наших фамилий? Вопрос риторический. И потому язык наш нередко отвергает такую посылку академиков.

Вспомним, как при жизни склоняли во всех газетах знаменитого тренера Станислава Жука. И что касается падежей, то, полагаю, склоняли вполне справедливо. Во всяком случае, это звучало естественно. И вы знаете, почему. Да потому что никому в голову не приходило смешивать личность

человека и... насекомое, которое по звучанию напоминает его фамилия. Впрочем, нет: в обиходе охотники извратить и куда более нейтральные фамилии всегда находятся. Тоже ведь «судьи», кстати... А кто, например, поручится, что какой-нибудь продвинутый носитель фамилии Кулик не сочтет ее курьезной по причине сомнительной ценности своего болотного «родственника»? Но как раз конкретно Кулика-то авторы справочника разрешают склонять безнаказанно! Конечно, встречаются и вовсе неприлично звучащие фамилии. Но это уже дело их обладателей – носить или же менять... Нет, сдаётся мне, ученые мужи напрасно вносят сумятицу во вполне удобное для восприятия правило. Единственное, где это возможно, я бы не давал, ни в коем случае, «убегать» гласным при склонении «сомнительных» фамилий, что нередко происходит с их словарными двойниками. К примеру, написал бы уважаемому г-ну Ременю, а не Ремлю. Не нравится? Не настаиваю.

Вестимо, что ни в каком роду-племени не склоняют фамилии, оканчивающиеся на все гласные, кроме «а» и «я». То есть, Бурду и Головню, к примеру, в мужском роде вертите, как хотите. Если, конечно,.. не заподозрите эти прозвища в курьезности. Вообще, с первой и последней буквой алфавита в окончаниях фамилий просто беда какая-то. Правила криком кричат-надрываются, что «низя». А что толку? Народ ухмыляется. По канону, скажем, Глафиру Зима или Феклу Пискаля никуда «склонить» нельзя в отличие от их мужей. Но для экранных особ это, похоже, не указ. Приятную даму, вице-спикера Любовь Слиску депутаты и газеты так вот натурально по падежам и

таскают. А даму, приятную во всех отношениях, телеведущую Руслану Писанку также легко оборачивают коллеги и служители пера.

С другими гласными в окончаниях проблем вроде никаких. В самом деле, и третьекласснику не придет в голову склонять, например, гр-на Коваленко. Хотя тут мне могут и возразить: как быть с А. Чеховым – «Беликов поплелся к Коваленкам»? Но, друзья мои, что дозволено каждому в украинском языке, то в русском – только Юпитеру.

Как ни странно, но русский язык – простите невольный каламбур – обласкал недавних недругов-японцев. Вспоминают генерала Танаку, говорят о писателе Акутагаве, восхищаются режиссером Куросавой. А уж нашего политика Хакамаду, как видите, и в женском роде запросто возвращают. Куда же супротив народа? В общем, склоняются эти фамилии так же органично, как, например, – все-российского грузина Булата Окуджавы.

Вот тут-то опять загвоздка. Автор справочника почему-то очень не советует видоизменять фамилию Соткилава. Чем она принципиально отличается от предыдущей? Это – по Розенталю – тайна велика есть. Не знаю, как вы, а я бы с удовольствием выпил по бокалу грузинского вина с замечательным тенором Большого театра Зурабом Соткилавой, когда-то – капитаном юношеской сборной СССР по футболу. Кстати будет и другой пример. Тот, кто помнит Муртаза Хурцилаву, знаменитого игрока уже взрослой сборной Союза, не удивлялся, когда его по всем падежам нагибали спортивные обозреватели за решающий промах в своей штрафной в ключевом матче. Хотя, с кем не бывает... Закончим грузинскую прогулку вместе с известной

в прошлом шахматисткой Наной Александрией. Именно так писали и говорили, несмотря на sacramентальное «я» в окончании фамилии. Ну, здесь, на мой взгляд, творить такое с женщиной, даже в творительном падеже, не слишком благозвучно... Но, может быть, всё же не стоит там, в нашей «вышней» филологической канцелярии, насмерть стоять за некоторые догмы, коль народ взывает: Перемен!

Так что, дорогие сограждане, не терзайте себя сомнениями. Смело обращайтесь к адресатам-мужчинам – гг.Сундуку, Дундуку, Пятаку, Суку, Сивке, Бурке, Цапле и даже к т. Матне... Они протестуют? Вы боитесь их обидеть? – Пишите не склоняя... С прекрасной половиной в подобных случаях я бы рекомендовал вам обращаться гораздо нежнее, в отличие от наших нардепов, которые, не стесняясь таскают своих сослуживиц и по падежам, и за волосы...

И последнее. Недавно у меня возникла надобность обратиться с письмом к одному небезызвестному в городе предпринимателю. Абсолютно убежден, что его фамилия с согласной в окончании ни при какой погоде не попадает в разряд курьезных. Справился у секретарши о координатах. Но та напоследок, на всякий случай, добавила: В «шанке» письма не склоняйте шефа, пожалуйста. Ему не нравится... Теперь уже я и не подумал наставлять визави на «нуть истинный»: хозяин – барин...

2004 г.



ОЧАРОВАН РОССИЕЙ...

Так уж принято, и это естественно, что вослед ушедшему пишут немало добрых проникновенных строк, если таковой был известной личностью, так или иначе владевшей умами, чувствами многих людей. Остальным достаются, в лучшем случае, несколько стандартных фраз и, как положено, – безупречных прощальных пассажей... То, что намерен сейчас поведать, наверное, не вписывается ни в первый, ни во второй случай. Просто неудержимо хочется рассказать, хоть немного, о самом обыкновенном человеке, известном весьма узкому кругу. Потому что он был необыкновенный, Саша Зениткин... Мы с ним и подружиться-то близко не успели. Мало-мало посотрудничали, да пару-тройку раз в компаниях, как водится, – «на брудершafft»... А вот пребывает он для меня другом.

Написал, просто выдохнул, стихотворение, посвященное ему – при его жизни. А вот услышать его он не успел. Думал, как-нибудь по случаю сойдемся – преподнесу. А случай представился... прочитал их ему вослед. Ох, цельзя откладывать на потом ни добрые дела, ни добрые слова. Потому как, все мы надеемся прожить сто лет во здравии, забывая, что завтра любого из нас может переехать трамвай беды... Стих-то, так вышло, получился не для него одного. В московский толстый журнал его потом отправил. Не под эгидой губернатора, как это бывает порой – нормально по нынешним временам - журналам тоже выживать надо, совсем

не в обиду будет сказано братьям по перу. Они-то от этого хуже не пишут... Нет, отплавил само-теком. И ведь напечатали. Получилось точно по словам поэта русского, Николая Глазкова: Писал стихи о стране, о России, — «жена прочла, сказала: плохо». А написал строки ближнему, «и оказалось всей стране потребны именно такие»... Казалось бы, выговорился. Но вот еще не один год прошел. А всё не отпускает тот посыл, что он оставил...

Сашка ушел в 40 лет, не совершив ничего выдающегося: комсомол, производство, предпринимательство... Ну, энергия бешеная была. Таких тоже немало. Были у него кой-какие проекты, которые осуществлялись. Зерном торговал одно время успешно, денежка водилась. И прожекты: мечтал о каком-то коттеджище, где бы он мог поселиться с ближайшими друзьями. В конечном-то итоге, не нажил он не особняков, ни счетов в иностранных банках. Да и в своем российском — не сказать, чтоб чего-то оставил. Что ж тут хорошего?.. Предать не мог, но соврать-слукавить — запросто. В общем, как и положено любому человеку... Вообще, этот здоровяк — косая сажень с крестьянскими корнями — был слишком разудал и бесшабашен для отца двоих сыновей. Может, потому и погиб. Хотя... были и другие версии... Вот слышишь сейчас: старые русские, новые русские... Под последними — и в шутку, и всерьез — нередко понимаются какие-то полулюди, не знающие, куда девать свалившиеся на них барыши. А мне сдается, если у человека есть в груди нечто, кроме ливера, то сколько бы на него не упало денег, это нечто не может потеряться, исчезнуть. И что, разве нельзя встретить неимущего, у которого в кошельке и в

душе одинаково: шаром покати... Между прочим, мало кто слышал, но Николай Некрасов успешно торговал вином. И это не помешало ему навсегда остаться в русской поэзии!..

Когда Саша брал гитару, он сразу становился родным и близким всем, кто его слушал... Был ли у него голос? Вряд ли. А скажите, у Высоцкого был сценический голос? Так вот, по магии воздействия на окружающих только с ним и могу Александра сравнить. Хотя пел он не свои, чаще всего известные песни и романсы. Но когда слышу иногда, как наши нынешние шансонье лабают – с той или иной степенью самовыражения – понимаю: до Сашки им, как до Луны... Однажды, в ресторане, он вышел на эстраду и запел вроде бы затертое уже – «Душа болит, а сердце плачет...» Надо было видеть, как «для разврата собранные люди» вдруг разом отложили вилки и перестали жевать... Он и сам иногда захлебывался от какой-нибудь поразившей его есенинской или даже современной строчки. Остановит песню, повторит речитативом и выдохнет: Как же здорово, бля!.. Помню еще, как один свой тост «под парами» я закончил не слишком-то уместным троюкуровским каламбуром: Люблю тебя, подлеца!.. И следом троекратно, по-русски... Но в этом возгласе и порыве моем безотчетном – всё: и обаяние его сумасшедшее, и натура его, само собой, куда как не безгрешная. Да кто ж из нас-то не?..

Кажется, только сейчас я начинаю понимать, может быть, истинную причину его неизбывного притяжения. Он был до боли русским человеком, настоящим мужиком русским, каких не густо. И с тем немудреным, но каким-то глубинным талантом

от предков, созвучным каждой душе нашей. Возле него пахло Русью!.. Одно из последних, что мне запомнилось у него, было что-то эмигрантское: «Ухожу, очарован тобой...» – Конечно, Россией!

РАЗГОВОР С СОБАКОЙ ДРУГА

Твоей морде, скажу тебе, Джина,
Позавидует Лоллобриджида!..
Погрустим о хозяине, псина?
Как внезапно тебя он покинул!
Только лишь на экране домашнем
Пребывает с гитарой, всегдашний.
И мужик, и большущий ребенок,
Что душой необъятен и тонок.
Он на память оставил нам роскошь:
Песен ту земляничную россыпь,
Струн мольбу – без искусства и мути –
От крестьянской природы по сути.
Я остался с ним – единоверцем:
В песню русскую, что – прямо в сердце!
И – в расхристанную Россию,
Вновь которой подняться под силу...
Всё не так беспросветно – а, Джина? –
Если песни по-прежнему живы!

1999 г.



ГРАНИЧАЩАЯ С БОГОМ...

Сознаю: то, чем намерен сейчас поделиться – спорно. Впрочем, в поэзии, например, бесспорны только стихотворные «паровозы». Например, раньше – о партии или о преимуществах социалистической Родины... Известно, что кое-кто в свое время одними «паровозами» и пробавлялся. А небес-таланные поэты иногда могли прицепить к такому всё остальное – спорное, чтобы напечататься. Ну, а живописцу роль локомотива вполне может сыграть портрет какой-нибудь известной официальной персоны. Автор этих строк, к счастью, никогда не был специалистом по подобной «тяге». Бог уберег... Сейчас, правда, другие времена: Если нашел деньги, можно напечатать вообще любую чушь. И всё же, простите за каламбур, но мое утверждение о спорности, неоднозначности восприятия любого искусства – достаточно бесспорно.

Будем считать, что этой преамбулой чуть смягчу возможный гнев некоторых ценителей живописи, какой рискую на себя навлечь. А речь пойдет именно о ней. Сам я не считаю себя большим знатоком таковой. Но завет Николая Заболоцкого – «Любите живопись, поэты!» – давно и как-то естественно вошел в мою жизнь. К нему еще вернуться... Что-то из живописи люблю, другое – не-безынтересно, а что-то оставляет равнодушным... С чего или с кого начать? Наверное, с ушедших.

Отец и сын Рерихи... Николай Рерих. Его картины не отличаются выпиской деталей. Возьму

«Песнь о Шамбале». Вот малый силуэт человека, сидящего почти спиной к зрителю... Но у меня нет сомнений: это – мудрец. А вокруг – море внутреннего света, загадок, каких-то предвосхищений. Не отпускает! Вижу, слышу, чувствую здесь поэзию. И такой свет идет от каждого его полотна... А Святослав Рерих? Смотрел на портрет его великолепной танцовщицы-жены: Да, всё здорово написано – красивые черты лица, складки платья... Ну и что? Могу ли я что-нибудь здесь домыслить, дочувствовать? Вряд ли... Мастер, конечно. Не отнимешь. Но мнится, что при некоторых начальных способностях и при должном тщании – тому, что делал С.Рерих, можно н а у ч и т ь с я... А вот тому, что сотворил его отец, убежден, – никогда! Потому что это – от Бога!

Но обращаюсь теперь к нашему здравствующему мэтру – Александру Шилову. Не уважать его произведения, разумеется, нельзя. Ведь и в энциклопедии сказано, что пишет он «тщательно моделированные портреты современников, людей труда...». Опять мастерство: глаза, каждая морщинка на лице его старушки, к примеру, выписаны просто здорово... Надо бы ей посострадать, а у меня не получается, хоть убей... Высоцкий с гитарой. Увы, и на этом портрете поэта я не обнаруживаю... поэта. Конечно, заметит кто-то, этот супер-успешный живописец ничуть не расстроится из-за моей оценки, даже если и печально узнает о ней. Но, сдаётся мне, – расслабьтесь, ценители! – каждый третий, как минимум, из арбатских художников (да почему только из арбатских?) пишет не хуже. Только им не дано было пробиться. Трудолюбия ли не хватило, упертости, удачи. Кстати об успеш-

ности: Нужно ли доказывать, что прижизненная известность – далеко не гарантия бессмертия художника? Куда чаще случалось наоборот...

Теперь немного о французских импрессионистах. Конечно же, не случайно название этого течения в живописи произошло от картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Неостановимо впечатление и послевкусие от него... Но я сейчас о другой картине – «Ложа» Ренуара. Грубоватые мазки, оптический и эмоциональный эффект от коих возникает на определенном расстоянии... Но в женщине, которая глядит на меня с этого полотна, я хочу дочитать всё: характер, любовь, судьбу. Чувствую, что она несчастлива со своим спутником, который едва, но неуловимо зловеще прописан на втором плане И вдруг ощущаю горечь потери оттого, что никогда ее не встречу... И всё это сделал размытый образ, краски, щедро и небрежно-гениально брошенные на холст... Уверен, этому тоже нельзя научиться. Ибо это – Поэзия!

Тот, кто успел заподозрить меня в чрезмерном западничестве и отторжении классиков, – поспешил. С радостью вернусь в Россию и к достаточно традиционной живописи. Уже упоминал вначале Н.Заболоцкого. Невозможно не привести здесь его строки из стихотворения «Портрет Струйской»:

*«Ее глаза, как два тумана –
Полуулыбка, полуплач –
Ее глаза, как два дурмана,
Покрытых мглою неудач...»*

Речь о картине с тем же названием – Федора Рокотова. И действительно, этот портрет не может не потрясти. Я пытался выяснить, кто же она –

натура художника? Но откопал только то, что она была женой малоизвестного сочинителя того времени Н.Струйского. Я ничего не знаю об этой женщине, но в глуби этих завораживающих жемчужных туманов вижу не только загадочную красавицу, а чувствую, может быть, несостоявшуюся великую судьбу – ощущаю сюжет не слабее истории Марты, что стала Екатериной Первой. Так видится мне... Это же русская Мона Лиза, если хотите! Да я просто люблю эту женщину. И, только сейчас понял, – ревную ее. К кому бы вы думали? К Рокотову? Нет, – к Заболоцкому!

Вот всего лишь малые островки живописи – той, что суть Поэзия, граничащая с Богом, и той картинописи, что сродни – мнится мне грешному – искусной цветной стереофотографии. Почему выбрал их? Не знаю, так случилось.

2002 г.



«...ДОЯ НАСУЩНОЕ ИЗ МГЛЫ!»

(чтоб вам не оторвали рук)

На своем веку автору этих строк немало приходилось помогать – очно и заочно – начинающим стихотворцам, юным и даже совсем не юным. Делал это всегда с интересом: вдруг да встречу у кого-то маленькое открытие, самоцветик... Иногда это случалось и, видит Бог, большую радость доставляло, когда мне удавалось опубликовать такие находки.

Следуя завету А.Чехова, я как инженер не брал денег за литсоветы. А зря, наверное... Но зато это дает мне право опубликовать здесь фрагмент из письма, которое написал одному достаточно взрослому юноше, очень уж влюбленному в свои произведения... Если читателя и вправду интересуется, как надо писать стихи, и его никак не научили этому строфы больших поэтов, то могу адресовать ищущего – к Господу Богу, в первую голову, во вторую – к столетнему и роскошному по содержанию двухтомнику Н.Шульговского «Теория и практика поэтического творчества», в третью – к основательному, тоже дореволюционному, труду В.Брюсова «Мастерская поэта» и, конечно, к популярной статье В.Маяковского «Как делать стихи». Если хотите, можно – в обратном и даже произвольном порядке. Вот такой далеко не исчерпывающий перечень... Моей же скромной персоне, когда писал юноше, пришла в голову шальная мысль – сподобиться на брошюрку под

названием «Как нельзя писать стихи» или назовите ее «Чтоб вам не оторвали рук», если угодно... Грешен, подумал, что такое занимательное пособие, если повезет, так и продать когда-нибудь удастся. Кстати, туда же можно включить и знаменитый мадригальчик, известный в писательских кругах и приписываемый то Маяковскому, то Смелякову. Мадригал якобы был написан в ответ на отказ известной поэтессы Веры Инбер, царство ей небесное, поменять внешне нормальную, но на слух – двусмысленную до непечатности строчку. Каждый, мол, слышит в меру своей испорченности, возражала она. Классик доказал оппонентке обратное... Впрочем, что-то мне мешает приводить на публике этот искрометный стёб. Вероятно – то, что там напрямую «стебается» фамилия поэтессы, и душе ее – даже «по ту сторону» – может быть неприятно. Лучше приведу свой автошаржик в подобном духе и буду рад, если вы улыбнетесь:

*Ко мне явилась муза как-то свыше.
От ейных форм снесло поэту «крышу».
Ибо она пришла – смекнули сразу? –
В чем мать её... дала на свет, заразу!
Вернуть назад бы молодость лихую –
Могу поклясться, братцы, на стиху я –
Её б без страху я любил... Обидно,
Что нынче я – не в творческом либидо...*

Однако вернемся к письму. По крайней мере, теперь понятно, зачем скопировал свое послание юному стихотворцу. Привожу только тот кусочек, какой, надеюсь, будет полезен не только юным и – такое бывает – весьма зрелым начинающим авторам, но и развлечет любого читателя. Разумеется,

вовсе не имел цели посмеяться над своим корреспондентом и никому, даже под страшными пытками, не открою его имя и город. Но не улыбаться здесь было просто невозможно. Ибо подобные «шедевры звукописи» вкупе с непоколебимой самоуверенностью их автора встречались мне не часто. Итак, вот эта вырезка из моего письма:

...Дорогой NN! Ты пишешь, что устал от беспрестанных похвал своему творчеству и что ты уже научился отличать истинные чувства от графоманского бреда. В первом могу тебе посочувствовать, а второе заявление весьма многообещающее. Любопытно только – в чужих произведениях научился это отличать или у себя? Давай попробуем разобрать одно твоё стихотворение. Судя по всему, ты попытался создать патристические строки о России. Что ж, само намерение – похвально... Итак, 1-я строфа:

*«Россия! Сын, вскормлённый твоей кровью,
Всегда живет клочком земли,
Всегда живет он этой болью,
Доя насущное из мглы...»*

Да уж... Не очень представляю взрослого сына России, вскормленного её кровью... Пойдем дальше. Какой клочок земли? Тот, что занят у сына под огород или речь о малой родине? А какой болью живет сын? Болью матери, из которой он сосал кровь, или болью от проживания на упомянутой клочке земли? Венчает строфу – «Доя насущное из мглы»??? (вопросительные знаки мои – В. Л.) Ты наверняка видел, что в шахматной партии, например, одним вопросительным знаком комментируют слабый или сомнительный ход,

двумя – очень слабый... Тремя – я не видел, чтобы чего-нибудь комментировали, но думаю, это должен быть какой-то запредельный ход: либо супергениальный, либо... ты понимаешь. И всё же попытаюсь разобрать твой ход. Во-первых: причем тут и что это за... животноводческие новости? И что это за дояр-передовик твой лирический герой? А что за насущное выдаивает он из мглы? Кстати, из какой мглы? Мглы веков? Мглы ужасного настоящего? Одни вопросы... Видишь, из всех сил пытаюсь понять твоего героя, но пока мне не удастся. Боюсь, наконец, что и сам твой деепричастный оборот... недеспособен как таковой.

Пойдем дальше. 2-я строфа:

*«Всегда тревожною молвою,
Всегда прощением слепым.
Когда кричит, когда он воет,
То знает, что живешь и ты».*

Не без труда, но догадываюсь, что ты продолжаешь перечислять, чем живет сын России. Тревожною молвою? Сомнительная пища для ума и сердца... Прощением слепым? Тогда кто кого прощает: мать – сына, наоборот или сын – сам себя? Хочу опереться хоть на что-то, но не выходит, хоть убей. А двумя последними строчками ты, как копытом, переворачиваешь и то ведро с непонятной жидкостью, что твой герой нацедил из мглы: Получается, что насосавшись крови матери, сын воет от боли, зная, что она еще жива... Всего лишь стараюсь перевести с твоего высокого поэтического (имеешь право) на обычный русский. Но получается такая вот зараза...

Что ж, давай поцедим из заключительной строфы:

*«Из океана глаз зеленых
Ты выплавь памятник ему.
И на скале желаний томных
Залей фундамент его сну».*

Увы, опять, нежно говоря, не очень поздравляю тебя с такими находками. Здесь, похоже, ты в повелительном наклонении делаешь Россию соучастницей-сотворцом своих образов. Боюсь, это небезопасно и для нее, и для читателя. Но по порядку. Глаза зеленые – это глаза россиян? Тогда почему не серые, голубые, карие? Перечисленных ведь неизмеримо больше, чем зеленых. Или речь об океане глаз-лесов матери-России? Теряюсь в догадках. Ладно, чьи бы глаза ни были, но читатель обязан представить выплавление из них памятника! А для этого ему придется вместе с тобой представить какую-то фантазмагорию на стыке офтальмологии, архитектуры и технологии металлов! Все нобелевские лауреаты просто отдыхают. А как насчет садизма, который надо проявить исполнителю памятника? И, наконец, ты предлагаешь уже после возведения варварского монумента залить фундамент его (сына России, надо полагать) сну – на скале желаний томных... Если бы ты просто заглянул в толковый словарь, то немедленно бы понял, что эпитет «томных» здесь уместен так же, как, скажем, пятна «зеленки» на твоей белой рубашке! Про скалу уж молчу. При этом совсем непонятно: сын России уснул навеки или пока в летаргии?

Дружище! Уверяю тебя, что задал еще мало вопросов. Конечно же, ты имеешь право на аллегории. Но в серьезном стихе (да в любом!) в твой образ должен поверить читатель, а не улыбаться там, где ты ожидаешь его сочувствия, если не слез. Вслух, наконец, сам прочти, что сейчас написал, и, как говаривал Есенин, убедишься: «...в клетке сдохла канарейка!» Заметь, я пока вовсе не придираюсь к ритмике, рифмам и прочему, прочему... К стилистике, к синтаксису, наконец. Думаешь, что последний здесь не важен? Всё это ведь живые атрибуты стиха. А перечисленная живность у тебя тоже... «кричит и воет». Не могу определить, что за неведому зверушку ты родил. По-твоему это — истинные чувства? Тогда вовсе не могу позавидовать их изложению... Графоманский бред? Нет уж увольте, сударь! Либо — бред, либо — графоман.

Если хочешь знать, к носителю сего звания (а никто сам не догадается, не согласится, что его носит) придраться ох как нелегко. У него со всем, что я назвал, — полный ажур. К тому же, мысль у него и образы, если последние есть, — понятны, съедобны. Одни лишь у него маленькие бедки: всё это, чаще всего, — затертое, перепетое либо слишком умное, сконструированное, где поэзия не ночевала... От последнего кого-то предостерегал, помнится, Пушкин: «Стихи должны быть чуть глуповаты, прости Господи...» Графоману никогда не понять, что Поэт вкладывал в это «чуть», потому что объяснить такое невозможно! Да ему и не нужны никакие объяснения, ибо наш воображаемый «ман» ни о чем таком не подозревает, неустанно и «страстно творя» свои компиляции... Знаю одного такого. Сумел издать уже около десятка книжек.

Умный мужик, интеллектуал и... безнадежен. Человек уже в таких годах, что просто неудобно говорить ему об этом. Пусть тешится. Может быть, ему-то самому и комфортно. Но всё же, полагаю, опасно, когда подобные произведения попадают в широкую печать. Опасно для читателя, опасно для таких юных сочинителей, как ты, прежде всего. Кажется, у Гейне есть беспощадное для стихотворцев откровение. За дословность не ручаюсь, но очень близко к цитате оно звучит так: «Тот, кто первым сравнил женщину с цветком, был гениальный поэт. А тот, кто это повторяет, искренне полагая, что пишет стихи – просто чурбан!» Но ты не повторяешь – уже хорошо.

Не обессудь, брат, пришлось тебя приземлить немного. Ты добросовестно пытался излить патристические чувства в стихе. Такое совсем не просто. И поэтам с именами далеко не всегда это удается сотворить, вовсе не сбиваясь на риторику, публицистику. У тебя же – явно не срослось со средствами выражения. Как говорится, «виновен, но без умысла лишить жизни» собственное дитя-произведение. Извини и за обилие моих иронических улыбок. Но ты теперь понимаешь, что без них было никак не обойтись. И поскольку ты обратился ко мне за отзывом, то истинным неуважением к тебе было бы как раз иное – ограничиться одним жестким, но вполне тут уместным словом: выброси! Однако отчаиваться тоже не стоит. Я ведь не судья и не доктор, чтобы выносить тебе приговор или ставить диагноз. Более того, тебя и похвалить есть за что. Как раз за попытку, пусть пока несостоятельную, создать что-то свое, незаёмное... Не уверен, что ты сможешь писать стихи. Но, кто знает,

может быть, твоя вот такая — весьма диковатая — оригинальность еще сослужит тебе службу в чем-то другом...

P.S. Хочется добавить несколько слов. Прошло несколько лет. Парень успешно учится в техническом вузе и перо тоже не оставил. Правда, стихов, к счастью, больше не пишет.

2001 г.



Россия
начинается с...
Юрги





РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ... С ЮРГИ

(ностальгические воспоминания)

Слово «Юрга» для меня – давно уже не случайное сочетание звуков. И каждый раз, когда приезжаю в этот уютный кузбасский городок, охватывает чувство сродни тому, что выразил Поэт в строчках «вновь я посетил». Именно сюда я приехал, уже более тридцати пяти лет назад, после Кузбасского политеха – молодым специалистом. Пахал на совесть – мастером-строителем на ударной комсомольской стройке абразивного завода. Правда, большая часть корпусов ударного комплекса располагалась в «зоне» строгого режима, куда и попал через полгода после начала своей работы... Бродил с девушкой по Московской, Ленинградской, по горсаду или его подобию... Посиживал с друзьями в единственном тогда ресторане «Восток» – по трешке с брата. После чего выдавал бессмертное «воробьяниновское»: Пойдемте в номера! А «номера» наши находились в общежитии молодых специалистов, что по улице Кирова. Но туда еще вернусь. Вообще читателю придется вместе со мной не раз улетать из Юрги и возвращаться в неё из разных пространств и времён...

С каким-то глубинным теплом вспоминаю своих первых учителей на стройке – старших прорабов: Юрия Александровича Скресанова – на воле, и Юрия Дмитриевича Кожина – в «зоне». Оба были классные спецы. А главное, как говорят, поднимая большой палец: Вот такие мужики! Были...

Потому что первый — добряк, жизнелюб и балагур — трагически погиб молодым. А второй — смолоду солидный, с какой-то врожденной интеллигентностью, поначалу просто сразил меня искренней уважительностью к без году неделю работающему парню. С Юрием Дмитриевичем мы потом часто встречались. Много лет руководил он всем сельским строительством Кузбасса, но, увы, — тоже ушел безвременно... Вообще, то ли мне повезло, то ли в Юрге человеки такие, но большинство людей, с кем тогда работал и общался, относились ко мне с «авансовой» душевностью, мною незаслуженной. Начиная с начальника стройуправления Геннадия Федоровича Казанцева, который при первой встрече заключил меня в объятия, и заканчивая бригадиром, нормировщицей. Помню их звучные немецкие и колоритные славянские фамилии: Гольман, Ваккер, Шрайбер, Солдатов, Жеребненко, Бельков, Паламошина... Это еще на воле, разумеется. Старались по-доброму опекают и... женить меня — только я ускользал — молодые, но постарше на песколько лет, инженеры-супруги Люба и Миша Мясниковы. Всех не назову, конечно. Иных, наверное, уж нет, а те далече... Все они чему-то меня научили, в чем-то помогли. В быту и на стройке. И записи тех лет в трудовой книжке о вознаграждениях за рационализаторские предложения мне куда дороже всяких последующих поощрений. Смешно теперь вспоминать, но в конце своего первого отпуска я застрял в Москве без денег. Я только позвонил в наш производственно-технический. Так мне телеграфировали аж 90 рублей — а тогда рубль обед в столовке стоил — авансом за рацпредложение, которое еще не было оформ-

лено! Как отдел убедил начальника управления, не знаю. Но это всё о хороших людях.

А почему так издержался холостой-неженатый? Зарабатывал по тем временам прилично, да еще в «зоне» за субботы в двойном размере платили... Но я был фанатом киевского «Динамо», почти бессменного чемпиона страны 60-х – 70-х годов. И в отпуске подгадал себе путешествие за любимой командой по маршруту Новосибирск-Ереван-Киев-Москва! После той поездки долго еще показывал всем книжку, где, каждый на своем портрете, расписались у меня супер-звезды советского футбола: Бышовец, Мунтян, Сабо, Рудаков... вся команда. Это было круто! Между прочим, мы, фаны, тогда без цепей, арматурин и педард ходили. С тех пор остыл, конечно, но не совсем. Любопытно, что теперь, если играют сборные Украины и России, всей душой – за Россию. Но если встречается Киев с москалями, ничего не могу с собой поделать – только за киевлян. Впрочем, тут всё легко объясняется. Отец у меня – украинец, там родился и вырос, сам я лет с 18-ти выписывал газеты и журналы на украинском. А мама – вятская русачка, и с младенчества – москвичка. Удивляться можно другому. Тому случайному обстоятельству, благодаря которому они, оба фронтовики, отец – офицер, мама – врач, родили меня сибиряком – в Кемерове. И оставались в Сибири еще долгие годы. История эта интересная, но длинная и здесь не поместится...

А коль уж коснулся малоросов, то – одно маленькое воспоминание из будущего. Украина, она и в советские времена была немножко самостийной. И могла себе позволить чего-нибудь эдакое. К при-

меру, еще в 78-году, в журнале «Всесвіт» я прочитал «Хрещеній батько», то бишь – «Крестного отца». У нас только музыка из одноименного фильма звучала у меломанов на катушках. Но на русском языке книгу осмелились напечатать только в 89-м, после того уже, как знаменитый мент Гуров объявил в «Литературке»: Лев прыгнул!.. А надо заметить, тогда, в 70-х, в кузбасских газетах нередко печатали переводные детективы из номера в номер. Народ привлекало. Я перевел изрядный кусок из «батьки» и принес тогдашнему редактору «Комсомольца Кузбасса» Володе Романову. Наутро он мне звонит: Всю ночь не спал-читал. Конечно, старик, будем печатать... Потираю руки, подсчитываю гонорары. Но, увы, не вышло у меня обогатиться – обком зарубил публикацию: посчитали – развратит молодежь или в мафиози отправит, уж не знаю... Так что в аккурат пополам у меня любовь к Украине с Россией. Позже, когда появился интернет, решил докопаться до происхождения своей фамилии. И нашел. В Западной Украине есть пара населенных пунктов, гора и долина, все – мои «однофамильцы». И в Словакии отыскался горный курортник-«братишка». Пустячок, а приятно...

Вернусь в Юргу на рубеже 60-70-х годов... Конечно, случались и неприятности на работе, иногда – серьезные. Как-то в ночную смену в «зоне», в сорокаградусный мороз, – уж точно не помню – то ли заморозил трактор, то ли не подвезли на нем нужный материал из-за моей оплошности. Оправдаться было чем, но всё равно: зевнул, не вовремя распорядился. Вот тут-то и выяснилось, что никто, в общем-то, не обязан мне соломки

стелить... Но кто бы мог подумать: с подачи одного из начальников – пожалуй, единственного, с кем не сошелся в Юрге – в городской газете «Свет Ильича» появилась крохотная заметочка о... моем злом проступке. Я бы и не увидел – «зеки» показали. Поулыбались: и это – следом за интервью, вроде как передового мастера на сдаточном объекте?.. Если бы этим кончилось... На комсомольском собрании тот же доброжелатель пытался навязать комитету решение об исключении меня из комсомола за эту провинность. Но собрание не послушалось! Повезло. Отделался строгачём по службе... Не держу ни на кого обид. Тем более, вина ведь была. Почему ее должны были вовсе не заметить? Вспомнил об этом, потому что подумал, как, в сущности, легко можно было в те времена в одночасье сломать жизнь молодому специалисту. Особенно, если человек ощущал себя какой-то личностью и не слишком заглядывал в рот начальству.

Знамо, язык мой – кто мне... От сего качества не то; чтобы пострадал в жизни – нет, Господь уберег. Но где-то, как-то... карьерку свою мирскую – может, и к лучшему – «недолифтил». Впрочем, иначе и быть не могло. Похоже, эта патология еще в школе началась. Любимыми предметами у меня были математика, русский и литература. Но педагогам своим – чаще по глупости, наверное – спуску не давал. В результате: недотянул до медали из-за... литературы, русского и одной из «математик»... А вот опять – из будущего: В 90-м году покорного слугу читателей занесло в кандидаты в Верховный Совет. Первые альтернативные выборы... Сижу, «бледный со взором горящим», среди дюжины кандидатов – на окружном собрании под

юпитерами – тогда такую коллективную выставку устраивали. А с трибуны доверенное лицо другого кандидата – болсе, чем известного в городе – льет на патрона, литр за литром, примитивный тошнотворный елей. И меня, конечно, дернул черт. Не слишком тонко съязвил на ухо будущему победителю, что-то вроде: Третье ведро уже льет. Вам не тяжело?.. Тот, правда, резонно парировал: А что, мне рот ему затыкать?.. Мой давний и недолгий соперник – человек тактичный: здороваться с тех пор не перестал... Но вот мелкая деталь: другой претендент, занявший, в итоге выборов, последнее место в нашей дюжине, тогда вскоре стал... его замом. Как там у Грибоедова? – «В мои года не должно сметь...»

Заикнулся тут о комсомоле. Очень трепетно отношусь к тогдашнему комсомольскому вожаку Юрги Нелли Васильевне Осьминкиной, красивой и статной женщине, из тех, что «в горящую избу войдут» – видному и теперь руководителю. Именно Юрга рекомендовала меня в обком комсомола, где каким-то образом, не будучи в партии, три года возглавлял областную ревизионную комиссию. В основном, – без отрыва от стройки. Упоминаю об этом, как о курьезе, потому что всё равно это оказалось не моё.

А вот другой курьёз, не сразу, но изрядно перевернул мою жизнь и, в итоге, не прошел безнаказанно: В тридцать уже не юных лет меня, главного инженера стройуправления – чего не хватало? – угораздило напечатать в альманахе «Огни Кузбасса»... лирические стихи. И следующие тридцать лет – хорошо ли, плохо ли – венчаю «гараж с геранью»: производство и творчество. Но если

когда-нибудь скажу, что одно не мешало другому и – наоборот, то не верьте. Еще как мешало! И в стихах моих сие где-то можно «вычислить»: борьбу с самим собой, метания между грешной и Млечной стезею. А лет десять назад в сердцах такой вот автошаржик обронил: Всю жизнь я, волком одиноким, брожу-ищу в толпе людской. От технократии – далекий, гуманитариям – не свой... Так что никому не посоветую такое раздвоение. Но судьбу не перепишешь.

К слову, о творчестве. Видно, так Бог распорядился, что свои первые строки накропал только в 27 лет. Хотя еще в Новосибирске, учась в девятом классе, переписывал у кого-то, из тетрадки в тетрадку, Есенина. Тогда, в конце 50-х, один из любимых моих поэтов был не то чтобы вовсе запрещен, но пребывал еще в полном официальном неприятии. Первый после долгих лет забвения его малоформатный пятитомничек вышел только в 61-м. Помню – ходил, бормотал: «Я не знал, что любовь – зараза! Я не знал, что любовь – чума!»... Как же здорово, черт возьми!.. Потом, в 17 лет, получил заряд в столице, от своего московского брата, стилиста, меломана и любителя поэзии, увы, слишком рано ушедшего... (Обо всем этом – через годы – провыл в своей ностальгической поэме «Зубовский бульвар»)... И опять – никаких «рукаприкладных» попыток. Вообще, по-моему, значения не имеет – в каком ты возрасте начал. Главное – что, а не когда. И если слишком любопытствуют, почему так поздно, отвечаю – с каменной физиономией – Пушкинской цитатой: «До 20-ти пишут решительно все, после 20-ти – поэты, после 30-ти – великие поэты...» А если без «приколов», то...

наверное, что-то копилось, чтобы позднее, на каком-то жизненном перекате – выплеснуться. И, видимо, не случайно в дебютную публикацию попала потом лирическая миниатюра, вылетевшая из моего самого первого и, в целом, ужасающе банального опуса. От него, длинномерного, наверное, запросто могла бы... «в клетке сдохнуть канарейка». Оказалось, «детских болезней» в литературе не миновать, когда бы не стартовал... Но вернусь назад. Следующий импульс такого рода, как ни странно, получил всё в той же... «зоне» строгого режима. В дикие тогдашние морозы, когда дни «активировали» и работа на стройке замирала, один зек-бригадир, занятный мужик, (помню только, что Анатолием его звали – 15 лет за убийство) вдруг начал шпарить наизусть Блока, Пастернака, Цветаеву и... Евтушенко, еще не слишком измученного славой. Из последнего почему-то врезались тогда в память – видно, были очень близки к окружающей действительности – вот эти строки: «У одной пьет мужик, у другой пьет мужик, и у третьей он пьет. У четвертой – тоска, что вот нет мужика. Хоть бы нил, да хоть был!»

Я тогда понял, что за колючей нашей проволокой нелюдей-то – самая малая часть. Остальные... – от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Бывало, в первые годы после своего «срока» встречу кого – освободившегося, у которого вроде всё нормально пошло. Рот до ушей, чуть не на шею падает: Михалыч! Пойдем с моей первой вольной угощу!.. Да сейчас не очень-то принимаю, – отнекиваюсь... Ну, хоть по кружке пива?.. Как тут мог не уважить «коллегу» 25-летний Михалыч... А тому Анатолию за литуроки отплатил, чем мог: в рулонах чертежей

стущенку ему в «зону» протаскивал – тоже ведь запрещали. Благо, в нашей столовой на воле она тогда еще свободно стояла. Нет, чего-нибудь другого – ни-ни! Хотя порой неплохие деньги предлагали. До идиллии там, само собой, было далеко. Кто-то скажет: ну, какая разница, где работать строителю – в «зоне», не в «зоне» – есть охрана, в конце концов. Так-то так. Да только всё время там что-то случалось. То какой-нибудь «зонавский» начальничек средней руки падал – ни с того, ни с сего – с 5-го этажа на бетонные плиты – допекал, наверное. То двухтонная «туфля» с бетонной кашей нечаянно срывалась на кого-то. Однажды и у меня чудом мимо уха просвистел тяжелый рулон с руберойдом, что с 20-метровой высоты летел: то ли кому-то наряды плохо закрыл, то ли шутка такая была невинная... «Приколов» тоже немало видел. Ну, например. Один «зек» предлагает другому на спор выпить 20 литровых банок воды с одной пайкой хлеба. Ну, как же это возможно – осушить в один присест два ведра воды? Но на кону – нечто совсем не смешное. И спор выигрывается: Берется приличная пайка хлеба, заталкивается в банку, заливается водой, пайка разбухает... И кто скажет, что потом не выпито 20 банок с одной пайкой?.. А уж про лексикон не говорю. Сильно «обогастил» там свой словарь...

Обещал вернуться в «нумера». Так вот. В нашей общаге «молодых специалистов» жили, само собой, все подряд: и рабочие, и служащие, и кто угодно, включая «деклассированных элементов». Из соседней комнаты мог услышать визг собачки, а потом – запах варева из нее же: это только что расконвоированные обедали... Но зато комендант-

ша заставляла портреты Есенина или Хемингуэя со степки снимать: не положено! Но гитару-то, конечно, никто не мог запретить. Безобразно и самонадеянно ревел и бречал на семиструнке восьмёрочным боем: всё подряд – от блатняка, Высоцкого и Антонова до «Дилайлы» Тома Джонса на умопомрачительном английском. Вообще мне надо было бы запатентовать способ игры «Для ленивых»: только на четырех нижних струнах и трех, проще валенок, аккордах, где в деле даже не подушечки, а лишь фаланги пальцев. После «второй» всё сходит... Ни играть, ни петь так и не сподобился научиться, хотя кой-какой басышко от природы был. Но любовь к русской музыке осталась еще со школьных лет: пугал соседей, с упоением голося вместе с пластинкой Шаляпина его песни и арии. Это от мамы: она когда-то всерьез пела – в Москве у самого Свешникова... Нет, все же не случайно потом судьба меня свела с композиторами.

Речь, прежде всего, о кемеровчанах. Владимире Пипекине и Марине Царегородцевой, что оказалась и певицей, каких поискать. Володя давно известен в России, мэтр уже. Это только благодаря ему наши с ним песни видные москвичи записали. Одна Валентина Толкунова чего стоит и солисты Большого театра и Краснознаменного ансамбля... И мне нравятся его вещи. Однажды где-то сказал в шутку, но не без доли серьеза: Кто бы теперь знал поэта Кукольника, если б Глинка не написал романсы на его стихи? Так, может быть, и меня когда-нибудь вспомнят, потому что Пипекин положил на музыку мои строки... И всё-таки, сдается мне, пока что самый сумасшедший подарок получил – от Царегородцевой. Мистика какая-то.

Просто не могу не рассказать об этом. Был у меня один рваный верлибрик, свободный стих без рифмы, написанный в Париже еще в 80-м году. Через 20 лет Марина увидела его в моей книжке и... вскоре показала на фортепьяно несколько вариаций, навеянных этими строками. Меня потрясла ее импровизация. А она предложила развить тему, намного расширить текст верлибра и еще придумать ритмический припев. Сделал всё за одну ночь. И вдруг почувствовал, что стихи эти, написанные, можно говорить, под заказ, — сильнее моего первоначального оригинала. Вот что сделала музыка... Эту рок-балладу «Прощание с Парижем» Марина сама вдохновенно спела и записала на диск. Второй раз так записать, наверное бы, не смогла. Валера Черкесов, тогда звукорежиссер Кемеровской филармонии, а ныне известный на всю Москву «саундмэйкер», только головой качал на записи... Я слушал ее в залах... Сначала сильно впечатлил, а потом забодал, похоже, этой балладой домашних. Ставил всем кассету в машине и, чего греха таить, — на службе. И с сочувствием, наивным, быть может, смотрю на тех людей, на кого — случается — эта вещь не оказывает такого же воздействия. Нет, всё же убежден: ее еще ждет своя особая судьба... А Марина вообще подвижница. Это ведь она узрела у меня в поэме «Испанское лето» — основу мюзикла. Классную написала музыку, увлекла этой идеей нашу оперетту и спела-сыграла вместе с солистами театра едва ли не всю эту поэму на своем бенефисе...

Снова вернусь в Юргу. Поведаю один эпизод, что произошел уже на излете моего тамошнего бытия. Как-то на вечеринке у сослуживцев позна-

комился, дело прошлое, с начальником местного КГБ, Василием Васильевичем, простецким в общении, но более, чем интересным человеком. Чувствовалось, он здорово знал свою службу, свободно владел немецким, разбирался в литературе, искусстве. Если бы все там такие служили... В общем, понравились мы друг другу. А он еще узнал, что к школьно-институтскому немецкому я решил английский добавить. Зачем его штудировал, сам не мог объяснить: никакой тогда мотивации не было. Разве что песни Пресли и Синатры хотелось с ними вместе лабать. Мне их еще в Москве 62-го брат на картонные пластинки записал – были и такие, не только подпольные рентгеновские пленки... Между прочим, много позже, в Штатах убедился: даже если у тебя скромный запас слов, пужно просто не бояться открывать рот и говорить – поймут и твой «terrible english». Даже «спичи» можно произносить под разогрев! И для тебя тоже, если захотят, – помедленнее скажут, смысл уловишь. Понимаем же, когда «их» даже официальные лица не стесняются глаголить на ломаном русском... Но мы – о «конторе». Короче говоря, увлек он меня перспективой – стать разведчиком где-нибудь в закордонье и... отправил в Кемерово на «смотрины» – на предмет учебы и службы. В области меня смотрел заместитель по кадрам, старый оперативник. Здесь, похоже, произошло нечто обратное по восприятию, чем с юргинским чекистом. Собственно, чего ради? Не Лановой же явился, чтобы всем нравиться... Сначала он резко охладил мой пыл насчет «Вайсов» и «Абелей»: Ишь чего захотел – в заграницу! А оперативничком куда-нибудь в Тайгу не желаешь?.. Но добил его правдой-маткой.

Он спросил, где и как проживаю. Ну и какие интересы сейчас у рабочих, — продолжал он зачем-то допытываться. Какие интересы, говорю: в основном, вокруг бутылки. Тут он изменился в лице: Что ж ты наговариваешь на рабочий класс?.. Может быть, и напрасно я это ляпнул. Встречал ведь, и немало, толковых мужиков-работяг. Но слово — не воробей... Занавес. Ну и ладушки. Бог, видать, уберег... Жалко было только, что Василь Васильича подвел.

А жил я действительно сначала с работягами, но большую часть «срока» — с двумя парнями-специалистами в одной комнате. Мы крепко сдружились. Саша из Элисты, года на три моложе меня, — атлет, красавчик, любимец девушек, но еще умница и технарь, каких мало: В 20 лет, почти сразу после техникума стал главным механиком на одном не последнем в Юрге предприятии. А еще он, как и я, «балдел» от «Двенадцати стульев» и «Битглз», «фанател» от футбола. Только в отличие от меня он и сам здорово мяч водил. Нет, неспроста ему еще в юношеской команде пацаны кличку дали — Моцарт... Борис, инженер из Тюмени, мой ровесник, работал мастером в монтажной организации — душевный и основательный мужик-трудяга, просто идеал для будущей жены. Один у него был пустяковый недостаток: если засыпал пьяным, закрывшись в комнате, то уже не было в природе такой силы, какая могла бы его поднять до утра. Чтобы открыть дверь, сразу шли за топориком... Как же мы пили тогда! У Сашки директором была какая-то дама из партбоймы. Боюсь, что она бойлер от бройлера не отличала. Так он регулярно подписывал у нее выдачу чистого спирта

для промывки... моторов. Обычно в пятницу накачивались по полной программе. Меня спасло, видимо, то, что имел своеобразные особенности «органонона»: на другой день после... не мог принимать ничего, кроме молока. Ну и — то, отчасти, что нередко на выходные уезжал к родителям, в Кемерово. А ребята похмелялись и похмелялись — на другой и на третий день, а то и на четвертый... В 71-м вернулся домой, и они вскоре тоже разъехались на свои малые родины. Какое-то время мы переписывались... А потом узнал, что и тот, и другой, что называется, окончательно «захлебнулись лихой самогонкой». Грустно, парни. Ох, как грустно... Еще к нам нередко присоединялся Вадим, на пяток лет постарше нас, прораб сантехнического участка, хуоба с «глазами, печальнее коровьих». Мухи не обидит, вообще святой по сравнению с нами. Но на грудь принимал любой литраж... Здравствует он, слава Богу, и сейчас. Служит в одном из вузов Н-ска. Недавно заезжал к нему. Холостяком он остался и бессребреником. Один только сохранился у него невеликий порок с той поры. Да и не порок это вовсе на Руси...

Один, уже забавный эпизод, в котором тоже без водки не обошлось. Заодно представлю еще одного незаурядного юргинца тех лет. Со школы я недурно играл в настольный теннис. В Юрге тоже иногда похаживал в спортпавильон. Там работал Анатолий Сенчуров, играющий тренер, прямо-таки олимпиец от Бога: и лыжник, и теннисист, и волейболист — за сборную Кузбасса выступал. И, по-моему, вообще не было такой спортивной игры, в которой Сенчуров меньше, чем на уровне кандидата в мастера «шарил». Он заметил меня

и пригласил несколько раз сыграть за команду Юрги на областных соревнованиях. Но на турнирах, увы, не мог я выложить и половину того, что показывал на тренировках: не родился спортсменом, уж точно. Толя это понимал. И вот как-то перед соревнованиями в Кемерове мы ночевали на полу – в ДК Строителей, где назавтра играть. У меня-то было, где жить. Но из солидарности остался вместе с командой. И Толя на сон грядущий налил мне граненый стакан по краешек: мол, утром самое то будет – легкая расслабуха... Вспомнишь тут О.Хайяма: «Если глупый лекарство нальет тебе – вылей! Если мудрый подаст тебе яду – прими!» Хотите верьте, хотите – нет, но на другой день... никогда в жизни так больше не играл! Стимулятор помог или слова Толи, уж не знаю. Правда, этот допинг мне больше не пригодился. Вскоре пошел вверх по службе, и было уже не до серьезных турниров. С тех пор поигрываю только для здоровья и удовольствия... А со спортом всё-таки была еще одна встреча. В 40 лет зашла в голову идея-фикс: в 42 года пробежать 42 км – марафон. Магические цифры... Один мой литнаставник, большая «язва», как-то «прикололся». Ты, мол, имей в виду, что в 42 все великие уходят: Высоцкий, Джо Дассен, еще кто-то. На всякий случай и ты остерегись... Два года тренировался, бегал кроссы... И ведь, неважно с каким временем, пробежал заветную дистанцию. Короче, страшную цифру миновал успешно. Но, друзья мои, марафон – как же это оказалось мучительно и скучно! И тогда понял окончательно, что мне ближе – стометровки-стихи да короткие рассказы: выплеснулся и спи-отдыхай!

Кажется, пора завершать эти непричесанные и разбросанные ностальгические заметки. Почему стал в последние годы снова приезжать в Юргу? Так случилось, что когда уже стал членом Союза писателей, судьба свела меня с юргинской поэтессой Тamarой Рубцовой, с детским домом, где она работала, и, конечно, с ее литературной студией «Свеча». Увидел воочию, как самоотреченно Тамара Ильинична служит детям, поэзии и, не побоюсь сказать, – Богу. Помогал, чем мог студии, напечатал в областной газете несколько произведений ее воспитанников. Вместе с Кузбасским отделением Союза писателей удалось кое-что сделать и для хлеба насущного детдомовского, который, вестимо, совсем не сладок. С некоторыми питомцами этого детского дома поддерживаю связь и в Кемерове, где они учатся в колледжах. Мало, слишком мало для них сделал. И всё же был вознагражден сторицей! Можно сказать, благодаря этим детям родилось несколько, дорогих мне и по-доброму принятых собратьями по перу, лирических стихотворений. Последнее, как водится, не так уж часто бывает. («У поэтов есть такой обычай, собравшись в круг, оплевывать друг друга»). Одно из них – «Вокруг двора детдома» – оказалось в самом деле трогает очень разных людей. Однажды читал его в Москве, на симпозиуме театральных деятелей. И там, у этих искушенных жизнью и литературой людей тоже увидел в глазах – берет... О какой еще награде может мечтать поэт!

Вот сейчас уронил о себе – поэт... И, кажется, впервые не ощутил при этом внутреннего, глубоко спрятанного несогласия с самим собой. Потому что, действительно, много лет сам не был убежден, что Бог дал нечто большее, чем какое-то чувство рус-

ского языка и способности слагать не вовсе дурные строфы. Да мало ли грамотных людей на Руси! Ну, повезло – или наоборот? – стал печататься... Ощущение этого большего пришло уже после 50-ти лет, – когда нажил, наверное, какую-то поэтическую судьбу, когда выдохнул долго зревшие стихи о России, за которые уже ни перед кем не будет стыдно, когда отправил их самотёком в «Наш современник», и они были напечатаны после сурового отбора Юрия Кузнецова... Но, может быть, ценнее и трогательней этих и последующих «когда» было только это: однажды подошла совсем незнакомая девушка и робко попросила переписать ей в тетрадку стихи о моей дочери, что стали песней... И во всем этом отчасти виновата и Юрга!

Вот о «самотёках» только что упомянул. Наверное, во все времена в «толстых» столичных изданиях находились люди, которые чувствовали много больше, чем от них требовали партия и правительство... Взять хоть такой случай. В 88-м году это произошло... Тут надо сказать, что очень люблю песни Александра Вертинского. Но на пластинках великого шансонье, что у нас вышли только в 70-х, была его дивная, но лишь интимная лирика. Помню, еще раньше в Польше, куда в 69-м попал по комсомолу, одна миленькая полечка все уши мне прожужжала о его шансонах, А я, темный, едва имя его слышал тогда... Спустя многие годы именно Александр Николаевич, можно сказать, надоумил меня сподобиться на первый женский текст. Он в своем романсе на стихи Ахматовой – едва ли не единственном у него на чужие стихи – сделал из женских окончаний мужские. Ну, а я просто поменял наоборот местоимения в мужском монологе, обращенном к подруге, и получилась

женская песня... Так вот, в 88-м Жанна Бичевская на своем диске записала песню Вертинского – 1918-го года! – о погибших юнкерах: «Я не знаю, зачем и кому это нужно? Кто послал их на смерть не дрожавшей рукой? Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой...» Меня, как опалило: Господи, да это же о наших парнях в Афгане! (Горько об этом писать, но еще через несколько лет эта песня оказалась... о наших ребятах в Чечне...) На одном дыхании тогда написал небольшое эссе, оттолкнувшись от тех строчек. Тут же отправил его в «Литературную газету». Потом подумал: эка, куда замахнулся – не пройдет. И отправил еще в «Советскую культуру». Но, вероятно, переполнявшие меня чувства оказались на тот момент маленьким, но открытием. Буквально через неделю-полторы открываю «Литературку» – там колонка с моим посланием... Только это не всё. Вскоре получаю письмо из «Культуры» с нагоняем. Мол, зачем же так, очень нехорошо, сударь, в два издания посылать, не предупреждая. Оказывается, они тоже – днем позже – отправили в набор этот же материал... И пришлось им переверстывать готовую полосу, чтобы не дублировать «Литературку». Хорошо, кто-то заметил «двойника» у коллег в последний момент... Конечно, послал письмо с извинениями. Написал, что никогда так больше не буду...

Что напоследок? «Остана несло...» – улыбнется кто-то. Что ж, может быть... Не мне судить, насколько съедобна получилась сия крошка из чувств и слов на изрядно перебродившем квасе времени... Впервые изменил старой привычке – переписывать свой опус два-три раза от руки, прежде чем доверить его компьютеру. На этот раз

сразу – из груди на монитор... Что вышло, то и вышло. Читателю-то положено «над вымыслом слезами облиться». А здесь – быль, воспоминания. Можно – охотно разрешаю! – не только над содержанием, но и над автором улыбнуться. Тем более, последний никогда не чурался в стихах стёба над собой. Но, видит Бог, я был искренен. И как ответил однажды Андрюша Миронов на язвительную записку из зала, «я как-то не учил то, что сейчас наговорил». То бишь – не готовился... Не знаю, пусть кто-то скажет, что следующие слова – бравада: Не покидает ощущение, что очень многое еще впереди, хотя скоро вступаю в свое... третье тридцатилетие. Откуда такая уверенность? Да от... хиромантов, если угодно. Вот согните запястье – образуются круговые морщинки. Каждая из них означает тридцать лет жизни. У меня таковых – три. Смешно? Ладно... Когда-то поразили слова, что обронил Делакура: «Я научился живописи, когда у меня не осталось ни сил, ни зубов...» Ну, а у вашего собеседника пока осталось кой-чего – из того и другого. Значит, еще многому возможно научиться! Хотелось бы, чтобы Господь в этом помог... Книга не случайно называется «Сонет в сентябре». Тогда, как и положено в классическом сонете, завершаю строчками из стиха, коим открыл эту книгу:

*Верю я: на декабрьском излете
Поверну время зимнее вспять!*

Август 2005 г.



Мои родители Лопушной Михаил Владимирович
и Покатаева Елена Алексеевна, г. Москва, 1941 г.

Первые стройки уже по-
зади, а первые строки —
где-то за горизонтом,
г. Юрга, 1970 г.





Фото на первую публикацию,
г. Кемерово, 1975 г.



Конец безбурного времени, впереди – борьба за выживание. С женой Натальей и детьми Денисом и Анютой, г. Кемерово, 1988 г.



На суровых ветрах строек, г. Кемерово, 1991 г.



С питомцами литстудии «Свеча» Т. Рубцовой,
г. Юрга, 1998 г.



С писателем Г. Немченко и воспитанниками
детского дома, г. Юрга, 2000 г.



С писателями Кузбасса, г. Мариинск, 2001 г.



С народной артисткой России В. Толкуновой
и композитором В. Пипекиным, г. Москва, 2002 г.



С моими соавторами – певицей и композитором
М. Царегородцевой и В. Пипекиным,
г. Кемерово, 2003 г.



С поэтом С. Куняевым и жителями Яи, 2003 г.



С поэтом Е. Евтушенко, г. Кемерово, 2004 г.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Между грешной и млечной стезёю... В. Махалов</i> . . .	5
<i>«Кто сказал, будто время летит?..»</i>	8

Юноша бледный со взором горящим..

<i>«И теперь, и во все времена...»</i>	10
<i>«Я, кажется, вдыхать могу...»</i>	11
Моцарт	12
Моцартиана	13
Соната Бетховена	14
Работа органиста	15
Апрель	16
На катке	17
Осеннее	18
Токката фигуриста	19
<i>«Вы настраивайте души...»</i>	20
Нечаянная боль	21
На базаре	22
Нечаянный свет	23
Двое	24
Антиподы	25
Колыбельная	26
Очень просто	27
День Победы	28
Музыка футбола	29

Ах, Россия, моя Россия...

Мамины стихи	31
Музыкальная память	32
<i>«Когда б он был чуть-чуть томим...»</i>	33
<i>«Как братством в нищете мы упивались!..»</i>	34
<i>«Гвалт стоял над газетой N-ской...»</i>	35
Занимательная грамматика	36
Речитатив барда	37
Вторая попытка	38

«Вот и грянули струны летящие...»	39
«Вокруг двора детдома...»	40
«В жизни твоей – начале...»	42
«Ты зайдешь по-простоцки, незванно...»	43
«Я никому уже не верю!..»	44
«Помнишь? Давний горячечный вечер...»	45
Памяти Геннадия Каверзина	46
Первая стройка	47
«Домик твой на опушке прибился...»	49
О вечности и сапогах	50
Мой словарь	52
Родительский день	53

Сонет в сентябре

Эхо	55
Письмо	56
Неопознанное чувство	57
«Я пианино в долг купил когда-то...»	58
«Давай взлетим поверх кудлатых туч...»	59
Старый Новый год	60
«Сколько лет меня ломает?...»	61
Анюта	62
Дочери	63
«Семнадцатый твой вешний лист...»	64
Сонет в сентябре	65
Фантазии политехника	66
Беломорская богиня	67
Сентиментальный сонет	68
«Мне однажды, как молния, ночью...»	69
Секрет счастья	70
Обыкновенная история	71
«Во твой посыл нельзя не верить...»	72
«Боясь находки, как потери...»	73
«Задумчиво и безманерно...»	74
Хрупкий бард	75
«Ты родилась в разгар зимы...»	76
Сибирская южанка	77
Брату меньшему	78

Парижские этюды	
Нотр-Дам	80
В Лувре	81
Плас-Пигаль	82
Прорыв цивилизации	83
Никогда больше... ..	84
Антильские сны	
	85
Зубовский бульвар	
	90
Испанское лето	
	95
На пути к Богу	
	106
Притча новая, иль может старая...	
Притча новая, иль может старая: про мужа служивого и – в той же роже – слов искателя	111
О, женщина!	
О, женщина!	118
Пять поцелуев	119
Прощание с Парижем	120
И это – ты!	122
Я потерять тебя боюсь	123
Пацаны	124
Шахтерский подвиг	126
Шахтерский Новый год	127
Шахтерская столица	129
Кузбасса рабочие руки	130
Песня о Кемеровском районе	131
Край мой зеленоглазый	133
Кийская земля	134
Странники в ночи	135
Имеющий в руках цветы...	
Гэбешный детсад	137
А мне всего четыре дня... ..	145

Где-то за Каменкой	149
Имеющий в руках цветы... ..	155

Ночью я позвонил Александру Блоку...

Ночью я позвонил Александру Блоку... ..	172
«...Но строк печальных не смываю»	178
Все эр и эль святого языка... ..	190
Иван Михалыча склонять нельзя!	193
Очарован Россией... ..	198
Граничащая с Богом... ..	202
«...Доя насущное из мглы!»	206

Россия начинается с... Юрги 214

Литературно-художественное издание
Лопушной Вячеслав Михайлович
СОНЕТ В СЕНТЯБРЕ

Стихи, рассказы, эссе

Редактор *В. В. Махалов*

Художник *Е. Н. Юманова*

Компьютерная вёрстка иллюстраций и фотографий
архива автора *А. В. Бондаренко*

Вёрстка *В. В. Солодовников*

Корректор *В. А. Волкова*

Сдано в набор 31.10.05г. Подписано в печать 14.11.05г.
Формат 60X84¹/₃₂. Усл. печ. л. 1,25. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Гарнитура Futura Round & Peterburg.
Тираж 500 экз. Заказ 1697. Цена договорная.
Отпечатано в типографии ГУВД КО
650020, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 17.

